ИВАНОВЪ-РАЗУМНИКЪ

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

IV

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

П. Т. Г.
1918.

А. А.

стр. 44, 122

Чернышевский надеялся улучшить положение
...народа сперва реформами, а затем, при
...волюцией

П... ...трации

...реалистов?

Ш... ...ностей
...ливые.


РЕВОЛЮЦIОННАЯ
МЫСЛЬ

ИВАНОВЪ РАЗУМНИКЪ

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

ЧАСТЬ IV

ИЗД. 5-ое, ПЕРЕРАБОТАННОЕ

ИЗД. Т-ВО
РЕВОЛЮЦІОННАЯ
МЫСЛЬ



ИВАНОВЪ РАЗУМНИКЪ

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

П. Т. Г.
1918

Типографія „Сѣверъ“, Петроградъ, Невскій. 140/2.

Шестидесятые годы.

I.

Въ физической химіи есть законъ, извѣстный подъ именемъ закона Лешателье; онъ гласитъ, что всякое дѣйствіе на нѣкоторую систему вызываетъ въ послѣдней явленія, противодѣйствующія этому дѣйствію. Законъ этотъ приложимъ и къ соціальной молекулярной физикѣ точно такъ же, какъ знаменитый ньютоновскій законъ о дѣйствіи и противодѣйствіи приложимъ къ соціальной механикѣ.

Всякій государственный гнетъ неизбѣжно вызоветъ противодѣйствіе общества, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ сильнѣе было давленіе: такъ гласитъ законъ Ньютона въ его примѣненіи къ соціальной статикѣ. Законъ Лешателье обращаетъ вниманіе на явленія промежуточныя между дѣйствіемъ и противодѣйствіемъ. Почему частыя войны сопровождаются увеличеніемъ рождаемости въ странѣ? Почему результатомъ чрезмѣрнаго развитія индивидуальности является ослабленіе производительной силы? На это «почему» — нѣтъ отвѣта, но законъ Лешателье объединяетъ собою всѣ такія явленія, заявляя, что послѣ каждаго общественнаго или индивидуальнаго напряженія въ какомъ бы то ни было направленіи, въ обществѣ или въ индивидѣ неизбѣжно возникнутъ противодѣйствующія этому напряженію силы. Такъ, напримѣръ, быстрый ростъ культуры въ странѣ, какъ это пока-

зываетъ статистика, всегда сопровождается уменьшеніемъ рождаемости, что въ будущемъ ведетъ къ замедленію роста культуры; обратно, всякая реакція, всякое замедленіе культурнаго роста страны увеличиваетъ въ послѣдней рождаемость, что въ будущемъ ведетъ къ усиленію роста культуры. Точно также государственное давленіе, клонящееся къ приниженію личности и подавленію общества, неизбѣжно вызываетъ въ послѣднихъ нарастаніе силъ, направленныхъ къ возвеличенію личности и росту общественнаго сознанія.

Аналогія ничего не доказываетъ и ничего не объясняетъ; она только иллюстрируетъ и поясняетъ. Но въ данномъ случаѣ наша цѣль другая: мы хотимъ приложеніемъ закона Лешателье къ системѣ оффиціальнаго мѣщанства и къ движенію шестидесятыхъ годовъ подчеркнуть стихійность этого движенія и тѣмъ самымъ указать, что мы не придаемъ интеллигенціи исключительной созидательной роли въ исторіи общественныхъ движеній, хотя и признаемъ ея творчество въ исторіи русской общественной мысли.

Система оффиціальнаго мѣщанства должна была погибнуть. Нельзя было сражаться кремневыми ружьями противъ штуцеровъ; нельзя было оставаться при системѣ натуральнаго хозяйства при господствѣ вокругъ хозяйства денежнаго. Чѣмъ дальше развивалась система оффиціальнаго мѣщанства, имѣвшая своей точкой опоры крѣпостное право и связанную съ нимъ экономическую систему, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе сказывались противодѣйствующія этой политической и экономической системѣ общественныя силы. Крымскій погромъ былъ только показателемъ «всей гнили правительственной системы, всѣхъ послѣдствій удушающаго принципа», по выраженію И. Аксакова. Нужны были новые мѣха для новаго вина.

19-е февраля 1861 г. было величайшимъ днемъ

всей русской исторіи XIX-го вѣка, днемъ выполненія minimum-программы русской интеллигенціи, начиная съ Новикова и Радищева и кончая Бѣлинскимъ и Герценомъ. Конечно, выполненіе это было произведено ниже всякой критики, или невѣжественными, или явно заинтересованными людьми; извѣстно, что именно 19-ое февраля повело къ окончательному разрыву между правительствомъ и интеллигенціей. Интеллигенція видѣла, что рабство замѣнено экономической кабалой, что крестьянскія земли обрѣзаны въ пользу помѣщика, что выкупная сумма вздута до невѣроятныхъ размѣровъ (по безупречнымъ вычисленіямъ Чернышевскаго, выкупная сумма колебалась въ предѣлахъ отъ 400 до 800 милл. рубл., считая въ этой суммѣ и проценты на погашеніе; правительство не постѣснилось увеличить эту сумму втрое и вчетверо). Все это такъ, и этой неудачной реформой сверху объясняются всѣ дальнѣйшія попытки революціи снизу въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ; но все-таки мы должны оцѣнить если не эту вынужденную и куцую реформу, то самый фактъ *освобожденія человѣка*.

II.

Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?— спрашивалъ великій поэтъ той эпохи; вмѣсто отвѣта мы можемъ перевернуть его вопросъ: народъ не счастливъ, но онъ освобожденъ. И русская интеллигенція сейчасъ же начала тяжелую борьбу за народное счастье, за народные интересы, за экономическую свободу народа,—борьбу, возможную только послѣ освобожденія народа изъ-подъ крѣпостного ига.

И борьба эта нуждалась въ новомъ знамени. Бороться за свободу народа отъ крѣпостного рабства можно было и подъ знаменемъ славянофильства, и

подъ знаменемъ западничества; рука объ руку шли въ эту борьбу и Хомяковъ, и Бѣлинскій, и Аксаковъ, и Герценъ, такъ же, какъ шли передъ ними и декабристы, и интеллигенція XVIII-го вѣка. Но теперь, послѣ 19-го февраля, положеніе дѣлъ существенно измѣнилось; необходимо должна была произойти болѣе рѣзкая дифференціація въ средѣ русской интеллигенціи: въ борьбѣ за экономическую свободу народа безповоротно разошлись между собой эпигоны стараго западничества, политическіе и экономическіе либералы шестидесятыхъ годовъ, и молодое поколѣніе русской интеллигенціи этой эпохи. *Начиная съ шестидесятыхъ годовъ, русская интеллигенція становится въ своемъ большинствѣ соціалистической, и такимъ образомъ во второй половинѣ XIX-го вѣка борьба за интересы народа, за его свободу и счастье ведется подъ знаменемъ соціализма.*

Родоначальниками соціализма въ Россіи были Бѣлинскій и Герценъ; въ концѣ эпохи оффиціальнаго мѣщанства въ соціалистическомъ «заговорѣ идей» петрашевцевъ оказывается такъ или иначе замѣшано до 300-тъ лицъ; уже одно это показываетъ, что соціалистическое направленіе русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ не было ка́кимъ-то deus ex machina, и что появленіе такого замѣчательнаго представителя русскаго соціализма, какимъ былъ Чернышевскій, было вполнѣ подготовлено всѣмъ предшествующимъ ходомъ развитія русской общественной мысли, какъ мы это и видѣли выше. Мы скоро увидимъ, что главнымъ пунктомъ расхожденія между соціалистической и не-соціалистической частью русской интеллигенціи была диллема: національное богатство или народное благосостояніе? Это были двѣ разныхъ системы пониманія экономической свободы; два разныхъ метода борьбы за народное счастье; будущее принадлежало, конечно, наиболѣе конкретной изъ

этихъ системъ, наиболѣе реальному изъ этихъ методовъ.

Соціалистическія настроенія могли быть и были доступными русской интеллигенціи эпохи оффиціальнаго мѣщанства, когда ими проникались десятки высшихъ представителей интеллигенціи; но стать массовымъ соціалистическое теченіе могло только тогда, когда интеллигенція стала въ большинствѣ демократичной по составу. Это случилось въ шестидесятыхъ годахъ, когда громадной толпой «разночинецъ пришелъ», по знаменитому выраженію Михайловскаго; «мыслящій пролетаріатъ», какъ называлъ интеллигентныхъ разночинцевъ Писаревъ, сталъ главнымъ носителемъ соціалистическихъ стремленій. Характерно приэтомъ то, что носителемъ и выразителемъ якобы классовой доктрины сталъ внѣсословный и внѣклассовый слой общества; *съ этого времени русская интеллигенція становится внѣклассовой и внѣсословной по своему составу.*

Мы уже отмѣчали, что не случайнымъ совпаденіемъ является и возникновеніе именно въ это время самого термина «интеллигенція»: новыя слова создаются тогда, когда того требуютъ новыя понятія. Съ этихъ поръ начинается главная часть исторіи русской интеллигенціи, а значитъ и исторіи русской общественной мысли: XVIII-ый вѣкъ былъ предисловіемъ, въ первой половинѣ XIX-го вѣка была намѣчена дорога, и только во второй половинѣ XIX-го вѣка русская общественная мысль распустилась полнымъ цвѣтомъ.

Мы сказали, что соціалистическое теченіе русской мысли шестидесятыхъ годовъ было подготовлено всѣмъ ходомъ предыдущаго развитія. Какимъ образомъ однако могло это теченіе стать господствующимъ среди русской интеллигенціи въ то время, когра даже на Западѣ оно отнюдь не было ни сильнымъ,

ни господствующимъ? Это объясняется совершеннымъ различіемъ соціальнаго строенія Россіи той эпохи и любой изъ другихъ крупныхъ европейскихъ странъ (исключая развѣ только Италіи): Россія въ это время только-что собиралась переходить отъ натуральнаго хозяйства къ денежному, а потому въ ней, относительно говоря, не было буржуазіи, не было «третьяго сословія», какъ экономической и политической силы.

Во Франціи буржуазія была настолько сильна политически, что уже въ концѣ XVIII-го вѣка могла произвести величайшій въ исторіи политическій переворотъ; ко второй четверти XIX-го вѣка она уже настолько была сильна экономически, что могла считать выгодными для себя фритредерскія проповѣди Бастіа, пользовавшіяся большимъ успѣхомъ. Въ Россіи же буржуазія въ серединѣ XIX-го вѣка была еще настолько quantité nègligeable, что сама стояла за то же фритредерство и теоріи экономическаго либерализма! Поистинѣ—крайности сходятся! Франція *уже* нуждалась во внѣшнихъ рынкахъ для вывоза, Россія *еще* нуждалась во внѣшнихъ рынкахъ для ввоза; и въ томъ и въ другомъ случаѣ интересы буржуазіи требовали, вообще говоря, уничтоженія таможенныхъ препятствій. Этимъ объясняется временное увлеченіе теоріями экономическаго либерализма; этимъ объясняется и либеральный таможенный тарифъ 1857 года.

Интересно отмѣтить, что вмѣстѣ съ ростомъ русской буржуазіи въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ все большій и большій вѣсъ пріобрѣтаютъ протекціонистскія теоріи; въ девяностыхъ годахъ, въ эпоху расцвѣта покровительствуемой промышленности, господствуетъ уже суровый протекціонный тарифъ 1892 года. Это показываетъ, что къ тому времени русская буржуазія успѣла вырости

настолько, чтобы нуждаться въ охранѣ внутренняго рынка, хотя и не настолько, чтобы дерзнуть возвратиться къ фритредерскимъ теоріямъ.

Какъ бы то ни было, но фактъ налицо: къ началу шестидесятыхъ годовъ буржуазія въ Россіи была quantité négligeable. Это объясняетъ намъ возможность яркаго соціалистическаго настроенія русской интеллигенціи: въ то время еще не было „интеллигенціи буржуазной", или она была крайне немногочисленна. Безсознательными (а отчасти и сознательными) идеологами буржуазіи были эпигоны западничества, съ которыми мы уже отчасти знакомы; мы еще прослѣдимъ за той ожесточенной борьбой, которую велъ съ ними величайшій представитель русской соціалистической мысли шестидесятыхъ годовъ — Чернышевскій.

III.

Шестидесятыми годами мы называемъ періодъ времени отъ 1856 г. до приблизительно 1866—1868 г., до выстрѣла Каракозова, до рѣзкой реакціи, послѣдовавшей послѣ этого, до расцвѣта писаревщины и нигилизма (послѣднее «до» надо понимать включительно). Этотъ періодъ времени рѣзко дѣлится на двѣ половины, рубежомъ которыхъ служитъ 1861 г.

Первая половина шестидесятыхъ годовъ — это періодъ надеждъ, періодъ вѣры въ добрыя намѣренія правительства: „ты побѣдилъ, галилеянинъ!" — восклицалъ тогда Герценъ, обращаясь къ Александру II (въ 1858 г.). Но уже черезъ два года послѣ этого настроеніе большинства русской интеллигенціи было совершенно инымъ; впослѣдствіи Чернышевскій (въ „Прологѣ къ прологу", 1877 г.) ярко выяснилъ, какъ мало-помалу русская интеллигенція разочаровывалась

въ „добрыхъ намѣреніяхъ“ правительства, потому что видѣла, что эти добрыя намѣренія изъ рода тѣхъ, которыми, по поговоркѣ, вымощенъ адъ. Какъ видимъ, почти буквально повторилась исторія двадцатыхъ годовъ и декабризма, начавшаго съ адресовъ царю и съ вѣры въ „доброжелательство правительства“, а кончившаго переходомъ съ легальнаго пути на „нелегальный“. Такъ случилось и въ шестидесятыхъ годахъ, ибо во всякомъ случаѣ куцая реформа 19-го февраля не удовлетворила собою русскую интеллигенцію, для которой теперь ясна была необходимость перехода съ легальнаго пути на путь революціонный; съ 1861 года начинается вторая половина шестидесятыхъ годовъ.

Появляется (1861 г.) первая знаменитая прокламація Михайлова „Къ молодому поколѣнію“; за нею быстро слѣдуетъ цѣлый рядъ другихъ прокламацій, призывающихъ къ возстанію подъ знаменемъ „земли и воли“. Организація „Земля и Воля“ возникаетъ въ 1863 г. и объединяетъ собою всѣ отдѣльные революціонные кружки. Въ первой прокламаціи „Земли и Воли“ указывается, что, „выступая на борьбу съ правительствомъ за права народныя, народный комитетъ въ настоящее время ставитъ себѣ одной изъ задачъ привлеченіе образованныхъ классовъ на сторону интересовъ народа, а значитъ и своихъ собственныхъ“... Такимъ образомъ, народники шестидесятыхъ годовъ стояли на томъ же принципѣ „интересовъ народа“, который впослѣдствіи былъ развитъ критическимъ народничествомъ семидесятыхъ годовъ; указаніемъ тождественности интересовъ народа и интеллигенціи шестидесятники открывали дверь центральной идеѣ міровоззрѣнія Михайловскаго, его двуединому критерію интересовъ личности и интересовъ народа, о чемъ у насъ еще будетъ рѣчь впереди.

Нѣкоторое, такъ сказать педагогическое, значеніе всѣхъ этихъ прокламацій несомнѣнно, но большаго значенія въ то время онѣ не имѣли и не могли имѣть: впервые послѣ долгихъ лѣтъ русская интеллигенція выступала на революціонный путь и шла еще ощупью. Внѣшнія обстоятельства однако на время остановили всякое движеніе по этому пути. Разгромъ Польши въ 1863—64 гг., разгромъ „Земли и Воли" въ 1864—1866 гг. ознаменовалъ собою конецъ шестидесятыхъ годовъ; судебная и земская реформа того же времени отчасти примирила съ правительствомъ русское „культурное" общество... Революціонная интеллигенція была изолирована и обезсилена; ея послѣдней попыткой было покушеніе Каракозова (4 апр. 1866 года), послѣ чего послѣдовавшій „бѣлый терроръ" завершилъ собою шестидесятые годы. Новая эпоха началась только въ 1872 г., когда началось знаменитое „хожденіе въ народъ"; предшествующими фактами были: въ области литературы—появленіе „Историческихъ писемъ" Лаврова, сыгравшихъ большую роль въ дѣлѣ организаціи интеллигентскихъ группъ, а въ области революціонныхъ фактовъ—нечаевское дѣло, и еще болѣе того нечаевскій процессъ, сыгравшій громадную пропагандистскую роль, совершенно неожиданно для правительства. Но все это относится уже къ эпохѣ семидесятыхъ годовъ.

Въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ властителями мысли русской интеллигенціи были Герценъ, Чернышевскій и Добролюбовъ. «Колоколъ» Герцена звалъ къ себѣ живыхъ и пробуждалъ своимъ звономъ не только русскую интеллигенцію, но и «культурное» общество. 1861 годъ—апогей вліянія Герцена; во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ оно быстро клонится къ упадку: въ 1861—1863 гг. русская интеллигенція начинаетъ считать Герцена

недостаточно революціоннымъ (это началось еще съ извѣстнаго письма къ Герцену [1]), въ «Колоколѣ» отъ 1 марта 1860 г.): послѣ 1863--64 гг. русское «культурное» общество начинаетъ считать Герцена слишкомъ революціоннымъ. Вліяніе его падаетъ; конецъ шестидесятыхъ годовъ ознаменованъ медленнымъ угасаніемъ оторваннаго отъ родной почвы гиганта Антея.

Чернышевскій раздѣлялъ вмѣстѣ съ Герценомъ въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ мѣсто во главѣ русской интеллигенціи; онъ былъ главнымъ представителемъ русской соціалистической мысли; его отношеніе въ этомъ случаѣ къ Герцену будетъ нами разобрано ниже. Здѣсь достаточно указать, что вліяніе и значеніе Чернышевскаго быстро возрастало ко второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ: правительство поняло это и поспѣшило отдѣлаться отъ опаснаго врага. Лѣтомъ 1862 года онъ былъ арестованъ, обвиненъ на основаніи завѣдомо подложныхъ документовъ и затѣмъ сосланъ въ каторжныя работы.

Приблизительно въ это же время умеръ Добролюбовъ (17 ноября 1861 г.). Конечно, его значеніе въ исторіи русской общественной мысли не можетъ быть и сравниваемо со значеніемъ Герцена или Чернышевскаго; однако онъ играетъ слишкомъ замѣтную роль въ исторіи русской литературы, чтобы намъ можно было обойти его молчаніемъ: его значеніе велико именно въ области тѣхъ вопросовъ, которыхъ только мимоходомъ касались Герценъ и Чернышевскій.

Смерть Добролюбова и убійство Чернышевскаго (трудно назвать иначе преступную ссылку его) стоятъ на рубежѣ между первой и второй половиной шестидесятыхъ годовъ, относясь къ 1861—62 гг. Вторая половина шестидесятыхъ годовъ ознаменована влія

[1]) Письмо это приписывалось Чернышевскому.

ніемъ Писарева, расцвѣтомъ «писаревщины» и господствомъ нигилизма. Обо всемъ этомъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ, а теперь перейдемъ къ общему знакомству съ ходомъ развитія русской общественной мысли въ шестидесятыхъ годахъ.

Окинувъ общимъ взглядомъ всю исторію шестидесятыхъ годовъ, мы потомъ вернемся назадъ и остановимся подробно и отдѣльно на трехъ именахъ, характеризующихъ эти годы; имена эти—Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ.

IV.

Шестидесятые годы внесли въ русскую литературу, въ общественную жизнь русскаго общества совершенно особую, новую струю. Выступила на сцену новая сила и рѣзко измѣнила соотношеніе силъ сороковыхъ-пятидесятыхъ годовъ: западничество и славянофильство быстро заслоняются новымъ теченіемъ, растущимъ, что называется, не по днямъ, а по часамъ. Вѣчная распря отцовъ и дѣтей становится въ эту эпоху особенно острой, особенно рѣзкой; и всѣ чувствуютъ, хотя и не всегда ясно понимаютъ, что случилось что-то новое, важное, опредѣляющее собою дальнѣйшее общественное и умственное развитіе на цѣлыя десятилѣтія.

Что же случилось? Классическій отвѣтъ на это былъ, какъ мы знаемъ, данъ уже въ началѣ слѣдующаго десятилѣтія. „Что случилось? — Разночинецъ пришелъ. Больше ничего не случилось. Однако, это событіе, какъ бы кто о немъ ни судилъ, какъ бы кто ему сочувствовалъ или не сочувствовалъ, есть событіе высокой важности, составившее эпоху въ русской литературѣ; и первостепенную важность этого событія должны признать рѣшительно всѣ стороны. Пусть одни утверждаютъ, что отсюда идетъ паденіе русской литературы, пусть другіе говорятъ,

что съ этихъ именно поръ она стала достойна своего имени, — одно вѣрно: явилось нѣчто, значительно измѣнившее характеръ литературы и имѣющее будущность, предѣлы которой трудно даже предвидѣть“... (Михайловскій, „Отечественныя Записки“, 1874 г., кн. III).

Вотъ обобщающій фактъ, подъ угломъ зрѣнія котораго необходимо разсматривать общественныя теченія шестидесятыхъ годовъ и послѣдующихъ десятилѣтій. Появленіе на исторической сценѣ „разночинца“ и его борьба за идейную гегемонію, быстрая побѣда и не менѣе стремительный идейный крахъ — вотъ вся внѣшняя сторона общественнаго развитія русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ. Остается вскрыть то содержаніе, которое проявлялось въ этихъ внѣшнихъ формахъ.

Шестидесятые годы, сказали мы, рѣзко раздѣляются на двѣ половины. Первая—пятилѣтіе съ 1856 по 1861 годъ. Это—періодъ головокружительнаго подъема, гигантскаго роста, быстраго общественнаго развитія; въ то же время это—эпоха общественнаго „довѣрія“ къ начинаніямъ правительства, правда, довѣрія, быстро уменьшающагося съ конца 1858 г., но все же позволяющаго правительству провести дѣло освобожденія крестьянъ. 1861-й годъ—гребень волны, высшая точка, достигнутая и интеллигенціей и бюрократіей; 19-е февраля дало народу то освобожденіе, за которое уже сто лѣтъ боролись лучшіе представители русскаго общества. Въ это же время достигаетъ апогея силы и вліянія сперва дѣятельность геніальнаго Герцена, затѣмъ „великаго русскаго ученаго“ Чернышевскаго и его младшаго товарища, Добролюбова; въ дѣятельности двухъ послѣднихъ соединено все наиболѣе цѣнное, что далъ шестидесятымъ годамъ „разночинецъ“.

Затѣмъ наступаетъ переломъ и начинается вто-

рая половина шестидесятыхъ годовъ, пятилѣтіе 1861—1866 г. Правительство еще продолжаетъ проводить задуманныя раньше реформы (судебные уставы, земскія учрежденія), но въ то же время широко развиваетъ репрессивную дѣятельность. Начинаются кровавыя и безсмысленно жестокія усмиренія крестьянскихъ движеній; послѣ пресловутыхъ петербургскихъ пожаровъ лѣтомъ 1862 года (повидимому, происшедшихъ не безъ участія крайнихъ реакціонеровъ) начинается дикое преслѣдованіе интеллигенціи, красочно описанное позднѣе Салтыковымъ въ его „Господахъ ташкентцахъ“. Польское возстаніе приводитъ къ санкціонированной свыше дѣятельности Муравьева-вѣшателя; наконецъ, покушеніе Каракозова (4 апр. 1866 г.) служитъ началомъ „бѣлаго террора“, заканчивающаго собою „эпоху великихъ реформъ“ и возвращающаго насъ чуть ли не къ николаевскимъ временамъ.

И параллельно съ этимъ такое же паденіе происходитъ и въ области общественной мысли второй половины шестидесятыхъ годовъ. Послѣ появленія прокламацій 1861 года, послѣ ссылки Михайлова, послѣ смерти Добролюбова, послѣ вопіющаго „процесса“ Чернышевскаго и осужденія его на каторжныя работы, послѣ, наконецъ, паденія „Колокола“ и потери Герценомъ вліянія въ широкихъ кругахъ общества,—русская мысль попробовала вступить на иной путь и попытаться вести общественную борьбу путемъ созданія широкихъ кадровъ интеллигенціи, „мыслящихъ реалистовъ“. Такова была проповѣдь Писарева въ лучшіе годы его дѣятельности, 1862—1866 гг.; но одновременно съ этой проповѣдью шло и доведеніе ея до абсурда въ „писаревщинѣ“, въ крайнихъ формахъ „нигилизма“. Цѣнные элементы этого теченія были сохранены и переработаны въ послѣдующемъ развитіи русской мысли; къ концу же

шестидесятыхъ годовъ получили перевѣсъ его отрицательныя стороны, такъ что и съ этой стороны шестидесятые годы въ своей второй половинѣ были ознаменованы паденіемъ великой волны общественнаго теченія. Мы увидимъ, что вся эта общая схема подтверждается всѣми частными фактами, къ обозрѣнію которыхъ мы и обратимся.

V.

Прошло не болѣе года со дня смерти Николая I, а уже въ общихъ чертахъ опредѣлилось взаимное отношеніе общественныхъ группъ, дѣйствовавшихъ въ первую половину шестидесятыхъ годовъ. Правда, въ первое время еще не было рѣзкой дифференціаціи: послѣ паденія николаевскаго режима всякое «либеральное» слово казалось словомъ единомышленника. Западникъ Кавелинъ, англоманъ Катковъ, государственникъ и консерваторъ европейскаго типа Чичеринъ, манчестерецъ Вернадскій, радикалъ-соціалистъ Герценъ, славянофилы Кошелевъ, Самаринъ, Аксаковы, революціонеръ-соціалистъ Чернышевскій—всѣ они въ это первое время общественнаго пробужденія старались находить другъ у друга точки соприкосновенія, а не линіи расхожденія.

И самъ Чернышевскій, столь безпощадно нетерпимый впослѣдствіи къ чужому мнѣнію, старается въ это время сгладить противорѣчія, найти общую почву съ человѣкомъ другого направленія. «Русскому Вѣстнику» Каткова Чернышевскій желаетъ успѣха и вѣритъ, что «успѣхъ его будетъ оправданъ и упроченъ его благороднымъ направленіемъ и литературными достоинствами» («Современникъ», 1856 г., № 2); повидимому, говоритъ Чернышевскій, «Русскій Вѣстникъ» будетъ органомъ художественной критики (которой не могъ сочувствовать авторъ «Эстетиче-

скихъ отношеній искусства къ дѣйствительности»), но, несмотря на это, по мнѣнію Чернышевскаго, «литература наша можетъ отъ этого только выиграть, ибо каждое опредѣленное, твердое, вѣрное себѣ направленіе имѣетъ цѣну уже потому, что въ основаніи его лежитъ убѣжденіе» («Совр.», 1856 г., № 4).

Еще ярче высказываетъ Чернышевскій подобное же мнѣніе, привѣтствуя славянофильскую «Русскую Бесѣду», неизбѣжность «жаркихъ преній» съ которой онъ предвидитъ: «И однако же мы отъ искренняго сердца повторяемъ свое привѣтствіе «Русской Бесѣдѣ»..., потому что считаемъ ея существованіе въ высокой степени полезнымъ для нашей литературы вообще и въ частности для тѣхъ началъ, противъ которыхъ возстаетъ она, которыя для насъ дороже всего, которыя мы защищали и всегда будемъ защищать»... («Совр.», 1856 г., № 6). Это характерно для самаго начала шестидесятыхъ годовъ: миролюбіе прирожденнаго трибуна и безпощаднаго полемиста Чернышевскаго доходило то того, что погодинскій «Москвитякинъ» онъ признаетъ «небезполезнымъ журналомъ», и готовъ найти смягчающія обстоятельства для автора пасквильной статьи противъ покойнаго Грановскаго—В. Григорьева, котораго даже умѣреннѣйшій Кавелинъ заклеймилъ произведшимъ въ то время большой эффектъ «физіологическимъ очеркомъ» «Слуга» («Русск. Вѣстн.», 1857 г., № 5).

Но дифференціація была неизбѣжна не потому, что въ литературѣ есть и не могутъ не быть такіе В. Григорьевы; слишкомъ различны были воззрѣнія на центральные вопросы русской жизни, на необходимыя реформы, на способы и предѣлы ихъ осуществленія. Въ двухъ направленіяхъ работала общественная мысль шестидесятыхъ годовъ—въ области соціальной и политической; съ одной стороны, подготовлялся громадной важности соціальный сдвигъ въ

области земельныхъ отношеній, а съ другой—выяснялась неизбѣжность тѣхъ или иныхъ политическихъ «гарантій», которыя позволяли бы вести «легальную» борьбу за соціальныя условія. Община или частное землевладѣніе?—вотъ центральный вопросъ, вокругъ котораго разгорѣлась борьба въ первую половину шестидесятыхъ годовъ,—борьба, продолжавшаяся съ тѣхъ поръ вплоть до начала XX вѣка.

Въ этомъ центральномъ вопросѣ шестидесятыхъ годовъ партіи раздѣлились самымъ разнообразнымъ образомъ. Западникъ и либералъ Кавелинъ талантливо защищалъ общину, западникъ и либералъ Вернадскій неудачно, но ожесточенно на нее нападалъ; славянофилы стояли, конечно, за общинное владѣніе, и съ ними былъ вполнѣ солидаренъ Чернышевскій, занявшій первое мѣсто въ ряду сторонниковъ общины. Его талантливые и грубовато ѣдкіе выпады противъ западниковъ - манчестерцевъ, его многочисленныя статьи въ пользу общиннаго землевладѣнія составляютъ во многихъ отношеніяхъ тотъ центръ, въ которомъ пересѣкаются самые различные пути общественной мысли первой половины шестидесятыхъ годовъ. Кромѣ того, и сама эволюція взглядовъ Чернышевскаго на общину въ связи съ отношеніемъ къ правительственной политикѣ крайне характерна для этой эпохи подъема общественной волны; постепенное крушеніе вѣры русскаго общества въ реформы свыше и обусловленный этимъ постепенный переходъ его съ либеральнаго пути на путь революціонный—все это съ наибольшей ясностью выразилось въ Чернышевскомъ, въ эволюціи его взглядовъ. Поэтому, прослѣдивъ за этой эволюціей въ періодъ 1856—1861 гг., мы тѣмъ самымъ нагляднѣе всего выяснимъ направленіе основного общественнаго теченія этой эпохи.

VI.

Уже въ статьяхъ 1856—1857 годовъ («Замѣтки о журналахъ», «О поземельной собственности» и др.) Чернышевскій началъ, съ одной стороны, борьбу противъ либераловъ-манчестерцевъ, а съ другой—выясненіе возможности и необходимости сохраненія общиннаго землевладѣнія при грядущемъ освобожденіи крестьянъ. Притомъ—полное довѣріе къ правительственнымъ начинаніямъ и полная увѣренность, что правительство прислушивается къ голосу общественнаго мнѣнія и будетъ съ нимъ считаться при практическомъ осуществленіи реформы. Послѣ появленія знаменитыхъ рескриптовъ отъ 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857 г. Чернышевскій пишетъ статью «О новыхъ условіяхъ сельскаго быта» («Современникъ», 1858 г., № 2), начиная ее восторженнымъ панегирикомъ Александру II; эпиграфомъ къ статьѣ Чернышевскій беретъ слова псалтири: «возлюбилъ еси правду и возненавидѣлъ еси беззаконіе, сего ради помаза тя Богъ твой»... Но какъ разъ за эту статью Чернышевскаго и послѣдовала первая цензурная кара *)—первый ушатъ холодной воды на голову Чернышевскаго: такъ прислушивалось правительство къ голосу общественнаго мнѣнія.

Чернышевскій пытался еще нѣкоторое время сохранить довѣріе къ широтѣ реформаціонныхъ начинаній правительства; уже три-четыре мѣсяца послѣ отмѣченнаго эпизода онъ одобряетъ—хотя и безъ прежняго восторженнаго тона—нѣкоторыя мѣропріятія

---

*) Въ этой статьѣ Чернышевскій доказываетъ невозможность сохраненія «обязательнаго труда» при новыхъ условіяхъ сельскаго быта—разрушеніи крѣпостной зависимости. Статья эта сильно озлобила крѣпостниковъ, мечтавшихъ удержать барщину и оброкъ даже послѣ освобожденія крестьянъ.

правительства; онъ привѣтствуетъ учрежденіе губернскихъ комитетовъ, отдавая имъ преимущество передъ бюрократическимъ способомъ выработки и проведенія реформъ; онъ надѣется, что «дворянство, конечно, сознаетъ и, безъ сомнѣнія, оправдаетъ оказанное ему довѣріе»... («Совр.», 1858 г., № 6). Но и тутъ его ждало жестокое разочарованіе: хотя дворянство, подъ сильнымъ давленіемъ свыше, и «оправдало довѣріе» бюрократіи, но сдѣлало оно это далеко не въ томъ направленіи, какого ждалъ и желалъ Чернышевскій отъ дворянства и отъ правительства.

Окончательное разочарованіе Чернышевскаго въ реформахъ свыше относится ко второй половинѣ 1858 года—послѣ первыхъ шаговъ этихъ же самыхъ встрѣченныхъ привѣтствіемъ Чернышевскаго губернскихъ комитетовъ, послѣ выяснившейся громадности выкупной суммы, принятой и комитетами и правительствомъ. Чернышевскій предвидѣлъ, что эта громадная сумма (отягощенная уменьшеніемъ крестьянской надѣльной земли) ляжетъ тяжелымъ бременемъ на плечи освобожденнаго мужика; отсюда его горькое разочарованіе—конечно, не въ общинѣ, а во всей проводимой свыше реформѣ отмѣны крѣпостного права.

И Чернышевскій со стыдомъ вспоминаетъ свою былую восторженность, свою довѣрчивость и «глупость», свой либеральный энтузіазмъ; онъ видитъ, что надо продолжать борьбу за общину, но только иными путями. Одержавъ блестящую побѣду надъ теоретическими противниками общины, Чернышевскій—а въ лицѣ его и все передовое общество той эпохи—потерпѣлъ пораженіе на почвѣ практическаго осуществленія общинныхъ идеаловъ въ ихъ полномъ размѣрѣ.

«...Я стыжусь самого себя,—пишетъ Чернышевскій въ концѣ 1858 года:—мнѣ совѣстно вспоминать о безвременной самоувѣренности, съ которою поднялъ

я вопросъ объ общинномъ владѣніи. Этимъ дѣломъ я сталъ безразсуденъ, скажу прямо—сталъ глупъ въ своихъ собственныхъ глазахъ... Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сдѣлать это, какъ могу. Какъ ни важенъ представляется мнѣ вопросъ о сохраненіи общиннаго владѣнія, но онъ все-таки составляетъ только одну сторону дѣла, которому принадлежитъ. Какъ высшая гарантія благосостоянія людей, до которыхъ относится, этотъ принципъ получаетъ смыслъ только тогда, когда уже даны другія низшія гарантіи благосостоянія, нужныя для доставленія его дѣйствію простора...» («Совр.», 1858 г., № 12, «Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія»). Эти низшія гарантіи—свобода общинной земли отъ долговыхъ обязательствъ или, по крайней мѣрѣ, незначительная величина этихъ обязательствъ по сравненію съ земельной рентой. Все это, по цензурнымъ условіямъ, выражено Чернышевскимъ въ формѣ намековъ: онъ самъ заявляетъ, что ему «трудно объяснить причину своего стыда...» Разумѣется, «трудно»—такъ какъ онъ не могъ высказать своей мысли во всей ея полнотѣ. И только позднѣе—въ «романѣ изъ начала шестидесятыхъ годовъ», «Прологѣ», не предназначенномъ для подцензурной печати, Чернышевскій могъ ясно и подробно выразить свою мысль. Эта его мысль въ то же самое время есть мысль большей части радикальной русской интеллигенціи тѣхъ годовъ; путь *отъ либерализма къ революціонности* — вотъ направленіе главнаго общественнаго теченія 1858—1861 гг.

VII.

Въ романѣ «Прологъ» Чернышевскій (подъ именемъ Волгина) такъ относится къ проектамъ освобо-

дительныхъ реформъ: «Толкуютъ: освободимъ крестьянъ! Гдѣ силы на такое дѣло? Еще нѣтъ силъ. Нелѣпо приниматься за дѣло, когда нѣтъ силъ на него. А видите, къ чему идетъ: станутъ освобождать. Что выйдетъ?—Сами судите, что выходитъ, когда берешься за дѣло, котораго не можешь сдѣлать? Натурально, что: испортишь дѣло, выйдетъ мерзость... Эхъ, наши господа эмансипаторы, всѣ эти ваши Рязанцевы *) съ компаніей! Вотъ хвастуны-то! вотъ болтуны-то! вотъ дурачье-то!..»

Волгинъ—не оппортунистъ; ему нужно или все, или ничего: «я не желаю, чтобы дѣлались реформы, когда нѣтъ условій, необходимыхъ для того, чтобы реформы производились удовлетворительнымъ образомъ». Съ землей или безъ земли освободить крестьянъ? вѣдь, это же колоссальная разница! «Нѣтъ, не колоссальная, а ничтожная,—находитъ Волгинъ.— Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю безъ выкупа. Взять у человѣка вещь, или оставить ее у человѣка, но взять съ него плату за нее—все равно... Вопросъ поставленъ такъ, что я не нахожу причинъ горячиться даже изъ-за того, будутъ или не будутъ освобождены крестьяне...» Это уже полное разочарованіе въ реформѣ,—это уже переходъ съ пути оппозиціоннаго на путь революціонный: только самъ народъ можетъ завоевать себѣ землю и волю. Въ разговорѣ съ однимъ, «усатымъ старикомъ», крѣпостникомъ-помѣщикомъ, Волгинъ высказываетъ это съ полной ясностью и грозитъ народнымъ возстаніемъ. — «Хорошо; грозите, милостивый государь: ваши угрозы не слишкомъ-то страшны, — отвѣчаетъ ему крѣпостникъ; — войско разгонитъ вашихъ милыхъ мужичковъ».

— Я знаю это, милостивый государь; будетъ

*) Подъ именемъ Рязанцева въ романѣ выводится Кавелинъ.

разгонять, пока будетъ разгонять, — отвѣчаетъ Волгинъ-Чернышевскій.—И до той поры, пока будетъ разгонять, вамъ нечего бояться.

— Милостивый государь, о чемъ вы говорите, позвольте васъ спросить?

— О томъ, милостивый государь, что мужицкій бунтъ не важная опасность для васъ. Войско легко разгонитъ мужицкіе бунты.

— Вы грозите революціей, милостивый государь?

— Понимайте, какъ вамъ угодно...».

Такъ переходила на революціонный путь демократическая часть русскаго общества; недовольная реформой, она грозила революціей; такъ зарождалось то настроеніе, которое обусловило собой возможность появленія «Земли и Воли»—первой революціонной организаціи той эпохи (членомъ этой организаціи, судя по многимъ даннымъ, былъ и Чернышевскій). Правда, Чернышевскій впослѣдствіи утверждалъ, что хотя онъ и грозилъ революціей, но не вѣрилъ въ нее: «Грозить революціей, какъ я погрозилъ этому усатому старику?.. Кто же повѣрилъ бы? Кто не расхохотался бы? Да и не совсѣмъ честно грозить тѣмъ, во что самъ же первый вѣришь меньше всѣхъ» («Прологъ пролога»). Но онъ писалъ это тогда, когда бросалъ ретроспективный взглядъ на прошлое изъ-за частокола сибирской каторжной тюрьмы; въ разгаръ же освободительнаго движенія и особенно въ годы 1861—1863 онъ думалъ и вѣрилъ иначе—это достаточно подтверждаютъ заключительныя строки его романа «Что дѣлать», проникнутыя твердой увѣренностью въ близкомъ торжествѣ революціи. Послѣднія страницы этого романа зашифрованы Чернышевскимъ довольно прозрачно. «Дама въ траурѣ»—это та же Волгина позднѣйшаго романа «Прологъ пролога», т.-е. О. С. Чернышевская (которой, кстати замѣтить, и посвящены оба романа). Ея трауръ зимой 1862—

1863 г. имѣетъ причиной судьбу Чернышевскаго, въ это время заключеннаго въ Петропавловской крѣпости; ея истерическіе монологи почти слово въ слово соотвѣтствуютъ записямъ «Дневника» Чернышевскаго; всѣ частности разговоровъ какъ нельзя болѣе ясно подтверждаютъ такую расшифровку. Наконецъ, «мужчина лѣтъ тридцати» послѣдней главы — это самъ Чернышевскій, освобожденный послѣ предполагаемой революціи 1865 года...

Такъ думала, такъ вѣрила радикальная часть русской интеллигенціи первой половины шестидесятыхъ годовъ; если перелистовать герценовскій «Колоколъ» за 1858 — 1863 г.г., то нарастаніе этихъ мыслей и чувствъ не можетъ не бросаться въ глаза: то, что Чернышевскій принужденъ былъ говорить эзоповскимъ языкомъ, въ свободномъ журналѣ Герцена высказывалось во всеуслышаніе, съ точками надъ і. Да и не одни радикалы и революціонеры-соціалисты ожидали великихъ событій въ ближайшіе годы — этихъ событій боязливо ждали и въ совершенно иныхъ сферахъ, какъ мы это знаемъ теперь изъ разныхъ записокъ и мемуаровъ того времени. Ждали съ нетерпѣніемъ и съ опасеніемъ: что скажетъ народъ? Чѣмъ отвѣтитъ онъ на куцую реформу освобожденія, на тяготы выкупныхъ платежей, на нищенскіе надѣлы, на присвоеніе помѣщиками занадѣльныхъ общинныхъ отрѣзковъ?

А народъ — безмолвствовалъ. Были отдѣльныя вспышки, подавленныя съ безсмысленной жестокостью; но во всей своей массѣ народъ молчалъ или, по крайней мѣрѣ, не дѣйствовалъ. А реформа была совершена безповоротно. Надо было искать новыхъ путей для достиженія прежней цѣли; эти новые пути стали намѣчаться во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Замолкли споры на соціальныя и экономическія темы; вопросъ объ общинномъ или частномъ

землевладѣнія совершенно исчезъ изъ журнальной литературы той эпохи; на первый планъ выступили вопросы личной морали; властителемъ думъ сдѣлался Писаревъ. Но здѣсь мы уже переходимъ отъ общественныхъ къ умственнымъ теченіямъ шестидесятыхъ годовъ.

VIII.

Если выступленіе на историческую сцену разночинца ознаменовалось поворотомъ общественной мысли въ сторону революціоннаго соціализма, то не менѣе рѣшительнымъ и революціоннымъ было это выступленіе и въ области умственныхъ теченій и въ области освященныхъ вѣками бытовыхъ отношеній. Изъ всего послѣдняго только эмансипація женщины стала прочнымъ достояніемъ русскаго общества, въ этомъ отношеніи съ тѣхъ поръ твердо ставшаго впереди Западной Европы; все же остальное имѣло чисто-временное значеніе и умерло вмѣстѣ съ шестидесятыми годами.

Разрушеніе эстетики, разрушеніе философіи, разрушеніе морали—вотъ отрицательная работа шестидесятниковъ, по поводу которой они могли сказать (и говорили) словами Бакунина: страсть разрушенія есть въ то же время и созидательная страсть. Они разрушали многое изъ того, что дѣйствительно слѣдовало разрушить: эстетику и метафизику эпигоновъ праваго гегельянства, мораль худосочнаго и лицемѣрнаго обывательскаго альтруизма; и, надо отдать имъ справедливость, многое изъ того, что они разрушали, такъ и не возродилось съ тѣхъ поръ въ русской общественной мысли. Но то, что они пытались созидать на мѣстѣ разрушеннаго, оказалось въ свою очередь лишь временнымъ заблужденіемъ и также не было воспринято духовными наслѣдниками

шестидесятниковъ. Разрушивъ нѣмецкую эстетику и обывательскую мораль, шестидесятники поставили на ихъ мѣсто принципъ утилитаризма; отвергнувъ философію и метафизику, они замѣнили ихъ сперва фейербахизмомъ, а затѣмъ и низшими формами матеріализма, представляющими, какъ извѣстно, одну изъ гибридныхъ формъ той же самой метафизики. Но самимъ шестидесятникамъ все это казалось окончательнымъ, безповоротнымъ, «научнымъ» рѣшеніемъ вопросовъ философіи, морали, искусства.

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ среди русской интеллигенціи царило сперва шеллингіанство, затѣмъ гегельянство; къ началу сороковыхъ годовъ совершился знаменитый «разрывъ съ Гегелемъ», ярко формулированный Бѣлинскимъ, послѣ чего властителями думъ стали, съ одной стороны, французскіе соціалисты, а съ другой—нѣмецкіе лѣвые гегельянцы, пытавшіеся влить въ форму философіи Гегеля радикальное политическое содержаніе, соединенное съ полнымъ «свободомысліемъ» въ области религіи. Но всѣ эти эпигоны гегельянства не создали и не могли создать ничего удовлетворяющаго потребности человѣка въ цѣльномъ міропониманіи; головою выше ихъ былъ Л. Фейербахъ, вліяніе котораго на русскую мысль было особенно сильнымъ.

Родоначальникомъ русскаго фейербахизма былъ Герценъ, мало-по-малу самостоятельно приходившій отъ гегельянства къ тому циклу мыслей, которыя составляютъ всю силу философіи Фейербаха. Самодовлѣющее значеніе, самодовлѣющая цѣнность жизни, признаніе самоцѣльности человѣка, знаменитая формула homo homini deus — все это для Герцена было подтвержденіемъ его самыхъ сокровенныхъ, самыхъ завѣтныхъ мыслей; въ своемъ «Дневникѣ» 1842—1845 гг. онъ высказываетъ это какъ нельзя яснѣе, точно такъ же, какъ и въ «Быломъ и думахъ». Въ

1847 г. Герценъ написалъ первую главу «Съ того берега»; въ этой книгѣ мы находимъ дальнѣйшее самостоятельное развитіе идей Фейербаха: провозглашается *самоцѣнность жизни*, на мѣсто Бога и человѣчества ставится человѣкъ, жизнь объявляется высшимъ мѣриломъ, высшимъ критеріемъ всего существующаго.

Въ этомъ же самомъ 1847 году впервые познакомился съ философіей Фейербаха Чернышевскій. «...Случайнымъ образомъ попалось желавшему сформировать себѣ научный образъ мысли юношѣ одно изъ главныхъ сочиненій Фейербаха, — писалъ впослѣдствіи (въ 1888 г.) о себѣ въ третьемъ лицѣ Чернышевскій. — Онъ сталъ послѣдователемъ этого мыслителя; и до того времени, когда житейскія надобности отвлекли его отъ ученыхъ занятій, онъ усердно перечитывалъ и перечитывалъ сочиненія Фейербаха. Лѣтъ черезъ шесть послѣ начала его знакомства съ Фейербахомъ, представилась ему житейская надобность написать ученый трактатъ. Ему казалось, что онъ можетъ примѣнить основныя идеи Фейербаха къ разрѣшенію нѣкоторыхъ вопросовъ по отраслямъ знаній, не входившимъ въ кругъ изслѣдованій его учителя... Онъ пожелалъ быть истолкователемъ идей Фейербаха въ примѣненіи къ эстетикѣ...». Такъ Чернышевскій задумалъ и написалъ въ 1853 году свою знаменитую диссертацію «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», съ которой впослѣдствіи Писаревъ хотѣлъ вести эру «Разрушенія эстетики», какъ озаглавлена одна изъ его статей.

Чернышевскій желалъ быть только истолкователемъ идей Фейербаха; слѣдуя за этимъ философомъ и примѣняя его общіе принципы къ области эстетики, онъ положилъ во главу угла своего изслѣдованія понятіе *жизни*, какъ высшаго эстетическаго

критерія. Уже самое опредѣленіе понятія «прекраснаго» онъ сводитъ къ этому критерію: «*прекрасное есть жизнь*,—говоритъ онъ:—прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни». И развивая эту мысль далѣе, онъ дѣйствительно только слѣдуетъ за основными положеніями Фейербаха. Прэкрасное мы видимъ или въ природѣ, или въ субъективной фантазіи, или, наконецъ, въ объективированной фантазіи въ искусствѣ; главнымъ вопросомъ диссертаціи Чернышевскаго является вопросъ объ отношеніи прекраснаго въ природѣ къ прекрасному въ искусствѣ, вопросъ объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности. Ясно, какъ можетъ и долженъ рѣшать этотъ вопросъ Чернышевскій, стоя на занятой имъ позиціи: «онъ дѣлаетъ выводъ изъ той мысли Фейербаха, что воображаемый міръ есть только передѣлка нашихъ знаній о дѣйствительномъ мірѣ»,—говорилъ впослѣдствіи самъ о себѣ Чернышевскій (въ предисловіи 1888 года къ предполагавшемуся третьему изданію „Эстетическихъ отношеній“). И въ самой диссертаціи Чернышевскій подчеркивалъ, что вся ея сущность заключается въ „апологіи дѣйствительности сравнительно съ фантазіей, въ стремленіи доказать, что произведенія искусства не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью“... Искусство принижалось по сравненію съ жизнью; жизнь была объявлена прекраснѣе искусства.

Было ли все это дѣйствительно „разрушеніемъ эстетики“? И да, и нѣтъ. Нѣтъ—такъ какъ „ученіе о прекрасномъ“, эстетика, не только не разрушалось, но, напротивъ, укрѣплялось на новыхъ основаніяхъ; да—потому что искусство низводилось на степень техническаго пособія для науки, простого

суррогата дѣйствительности. Съ одной стороны наука, по словамъ Чернышевскаго, признаетъ эстетическія переживанія „столь же существенными, какъ потребность ѣсть и пить"; а съ другой—искусство признается лишь слабымъ и блѣднымъ отраженіемъ жизни. Для того, чтобы окончательно „разрушить эстетику", нужно было сдѣлать еще нѣсколько шаговъ въ томъ же направленіи: прежде всего замѣнить эстетическія отношенія—утилитаристическими отношеніями искусства къ дѣйствительности, критерій „прекраснаго" искать въ принципѣ „полезнаго"; а затѣмъ—свести эстетическія переживанія на степень низшихъ физіологическихъ реакцій организма, признать эстетическое чувство аналогичнымъ и равнымъ по значенію хотя бы вкусовымъ раздраженіямъ. Эти шаги были немедленно сдѣланы сперва Добролюбовымъ, затѣмъ Писаревымъ и его послѣдователями.

IX.

Добролюбовъ занимаетъ выдающееся мѣсто въ исторіи русской критики; его вліяніе на молодежь шестидесятыхъ годовъ было очень велико; но въ исторіи развитія умственныхъ теченій этой эпохи онъ играетъ очень скромную роль. Находясь подъ сильнымъ вліяніемъ Чернышевскаго, почти исключительно отдавшагося разработкѣ соціально-экономическихъ вопросовъ, Добролюбовъ сталъ развивать въ области литературной критики мысли своего старшаго товарища и учителя. Онъ сдѣлалъ дальнѣйшій шагъ на пути „разрушенія эстетики": отношенія искусства къ дѣйствительности онъ сталъ разсматривать не эстетически, а утилитаристически, беря критеріемъ цѣнности искусства принципъ полезности. Къ этой точкѣ зрѣнія былъ близокъ и Бѣлин-

скій въ послѣднемъ періодѣ своей дѣятельности, не доходя, однако, до крайняго примѣненія этой теоріи; въ шестидесятыхъ годахъ этотъ принципъ получилъ всестороннее развитіе и былъ доведенъ до своего логическаго предѣла и въ области морали и во всѣхъ другихъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Фейербахъ былъ дополненъ Бентамомъ и Миллемъ (книга послѣдняго „Утилитаріанизмъ" была тогда переведена на русскій языкъ); наиболѣе яркимъ и цѣльнымъ выраженіемъ новаго міровоззрѣнія была знаменитая статья Чернышевскаго „Антропологическій принципъ въ философіи" („Современникъ", 1860 г., №№ 4 и 5).

Въ этой своей статьѣ Чернышевскій все еще оставался послѣдователемъ Фейербаха и его «антропологизма», хотя и отклонялся отъ этого ученія во многихъ частныхъ вопросахъ, подходя ближе къ догматическому матеріализму. Впрочемъ, самъ Чернышевскій считалъ себя вѣрнымъ ученикомъ именно Фейербаха. Во «второй коллекціи» своихъ «Полемическихъ красотъ» («Совр.», 1861 г., № 7), отвѣчая критикамъ «Антропологическаго принципа въ философіи», Чернышевскій вполнѣ ясно называетъ своимъ учителемъ Фейербаха, хотя и не приводитъ этого запретнаго въ то время имени. «Теорія, которую считаю я справедливой,—пишетъ Чернышевскій,—составляетъ самое послѣднее звено въ ряду философскихъ системъ... По одному историку (философіи) теорія эта справедлива, по другому несправедлива, но всѣ они единодушно скажутъ вамъ, что эта теорія дѣйствительно послѣдняя, вышедшая изъ гегелевской точно такъ же, какъ гегелевская вышла изъ шеллинговой... Но вамъ все-таки можетъ быть не ясно дѣло, вамъ, вѣроятно, хотѣлось бы узнать, кто же такой этотъ учитель, о которомъ я говорю? Чтобы облегчить вамъ поиски, я, пожалуй, скажу вамъ,

что онъ—не русскій, не французъ, не англичанинъ;—не Бюхнеръ, не Максъ Штирнеръ, не Бруно Бауеръ, не Молешоттъ, не Фохтъ,—кто же онъ такой? Вы начинаете догадываться: должно быть, Шопенгауеръ!—восклицаете вы, начитавшись статей г. Лаврова. Онъ самый и есть, угадали...» *) Такимъ образомъ, не имѣя возможности прямо назвать Фейербаха, Чернышевскій дѣлаетъ это косвенно, но достаточно ясно; въ то же самое время онъ отгораживается отъ представителей догматическаго матеріализма (Бюхнера, Молешотта, Фогта). И однако, въ его статьѣ имѣются явные элементы именно догматическаго матеріализма, къ которому все болѣе и болѣе приближалось теченіе русской мысли этой эпохи.

Что такое этотъ «антропологическій принципъ» въ пониманіи Чернышевскаго? «Принципъ этотъ,—отвѣчаетъ Чернышевскій,—состоитъ въ томъ, что на человѣка надо смотрѣть, какъ на одно существо, имѣющее только одну натуру, чтобы не разрѣзывать человѣческую жизнь на разныя половины, принадлежащія разнымъ натурамъ...» Борьба съ дуализмомъ, проповѣдь монизма—все это дѣйствительно входило въ «антропологизмъ» Фейербаха; но Чернышевскій подошелъ гораздо ближе къ догматическимъ матеріалистамъ въ своемъ объясненіи процесса жизни. Вѣдь, и догматическій матеріализмъ тоже боролся съ дуализмомъ, вѣдь и онъ тоже проповѣдывалъ монизмъ въ его наиболѣе некритической формѣ.

Именно на этой почвѣ и происходило въ шести-

---

*) Чернышевскій имѣетъ въ виду «Три бесѣды о современномъ значеніи философіи» Лаврова, напечатанныя въ «Отеч. Зап.» 1861 г., № 1, и главнымъ образомъ книжку Лаврова «Очерки вопросовъ практической философіи», отвѣтомъ на которыя и была статья Чернышевскаго «Антропологическій принципъ». Въ этой своей статьѣ Чернышевскій, кстати сказать, сравниваетъ значеніе Шопенгауера въ философіи со значеніемъ Каролины Павловой въ русской поэзіи.

десятыхъ годахъ «разрушеніе философіи». Философія сводилась къ физіологіи нервной системы и обращалась въ одну изъ отраслей естествознанія; все же, лежащее внѣ этого (т.-е., иначе говоря, вся философія), объявлялось ни къ чему ненужнымъ хламомъ, эквилибристикой мысли, шарлатанствомъ, схоластикой XIX вѣка. Когда въ отвѣтъ на антропологическую философію Чернышевскаго одинъ изъ профессоровъ философіи, Юркевичъ, попытался, между прочимъ, указать, что точка зрѣнія догматическаго матеріализма устраняетъ лишь дуализмъ метафизическій (тѣло—душа), но безсильна противъ дуализма гносеологическаго (не-я—я), то Чернышевскій не счелъ нужнымъ дать на эти возраженія какой-либо отвѣтъ, кромѣ соболѣзнующей насмѣшки и ссылки на свои дѣтскія семинарскія тетрадки, въ которыхъ можно найти всѣ положенія «идеалистической» философіи Юркевича...

При томъ вліяніи, какимъ пользовался въ эти годы Чернышевскій, такое насмѣшливое пренебреженіе импонировало и не могло не импонировать широкимъ кругамъ читающей публики. Писаревъ, подобно тому какъ это было и въ области эстетики, только поставилъ точки надъ і, окончательно отвергнувъ всякую философію, кромѣ философіи здраваго смысла. Всякая другая философія—только «схоластика, праздная игра ума... Гдѣ современное значеніе подобной философіи? Гдѣ ея оправданіе въ дѣйствительности? Гдѣ ея права на существованіе?» («Схоластика XIX вѣка», 1861 г.). Право на существованіе имѣетъ только «философія очевидности», какой считалась въ то время система догматическаго матеріализма.

И необходимо отмѣтить, что Писаревъ уже окончательно смѣшиваетъ философію Фейербаха съ этой системой естественно-научнаго матеріализма: для

него Фейербахъ и Молешоттъ—мыслители одной и той же школы, одной вѣры, одной религіи (см. Собр. соч. Писарева, I, 361).

X.

Итакъ, «разрушеніе эстетики», «разрушеніе философіи»—все это шло crescendo, начиная съ Чернышевскаго, среди русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ; «разрушеніе морали» было проведено не менѣе рѣшительно и не менѣе послѣдовательно, причемъ и въ этой области одно изъ первыхъ словъ принадлежало тому же Чернышевскому и было высказано въ той же его статьѣ «Антропологическій принципъ въ философіи». Ученіе англійской школы философовъ о происхожденіи и сущности нравственности было принято шестидесятниками, какъ откровеніе и какъ несомнѣнная, строго-научная истина. „...Уже разрѣшенъ вопросъ о подведеніи всѣхъ часто разнорѣчащихъ между собою человѣческихъ поступковъ и чувствъ подъ одинъ принципъ,—убѣжденно заявляетъ Чернышевскій, — какъ разрѣшены вообще почти всѣ тѣ нравственные и метафизическіе вопросы, въ которыхъ путались люди до начала разработки нравственныхъ наукъ и метафизики по строго-научному методу“... Вопросъ морали разрѣшенъ принципомъ личной пользы, какъ единственнымъ побудителемъ и двигателемъ человѣка. Альтруизмъ—миѳъ, самопожертвованіе—сказка („жертва—сапоги въ смятку“): „надобно бываетъ только всмотрѣться попристальнѣе въ поступокъ или чувство, представляющіеся безкорыстными, и мы увидимъ, что въ основѣ ихъ все-таки лежитъ та же мысль о собственной личной пользѣ, личномъ удовольствіи, личномъ благѣ, лежитъ чувство, называемое эгоизмомъ...“ Это чувство лежитъ въ основѣ

даже величайшаго самопожертвованія, даже жертвы жизнью во имя идеи: „все-таки основаніемъ служитъ личный расчетъ или страстный порывъ эгоизма“... Эти мысли, эти положенія—въ корнѣ разрушающія всю старую систему морали, основанную на принципѣ долга,—легли во главу угла всего міровоззрѣнія шестидесятниковъ, придали ему совершенно своеобразную окраску. Быть можетъ, ярче всего было обрисовано это разрушеніе старой морали, это новое міровоззрѣніе въ знаменитомъ романѣ Чернышевскаго „Что дѣлать?“ (1863 г.).

Въ этомъ романѣ—квинтъ-эссенція всѣхъ общественныхъ идеаловъ шестидесятниковъ, ихъ моральныхъ, философскихъ и эстетическихъ взглядовъ и воззрѣній. Тутъ и непоколебимая вѣра въ ближайшую побѣду, въ политическое освобожденіе (даже срокъ предсказанъ—1865-ый годъ); тутъ и описаніе будущаго блаженства при соціалистическомъ строѣ, который также не очень отдаленъ отъ насъ („смѣнится немного поколѣній“) и который описанъ намѣренно лубочными красками въ духѣ фурьеризма; тутъ и рядъ эстетическихъ положеній, мимоходомъ высказываемыхъ въ насмѣшливой бесѣдѣ автора съ „проницательнымъ читателемъ“; тутъ и вполнѣ опредѣленная матеріалистическая философія; тутъ, наконецъ, и практическій отвѣтъ на вопросъ „что дѣлать?“ (мастерскія Вѣры Павловны; медицина; изученіе естественныхъ наукъ). Но, кромѣ всего этого — или вѣрнѣе, на-ряду со всѣмъ этимъ — лейтмотивомъ романа, несомнѣнно, является проповѣдь теоріи утилитаризма, дающая главный отвѣтъ на вопросъ, какъ жить и что дѣлать. Начиная съ главы „Гамлетовское испытаніе“, въ которой Лопуховъ проповѣдуетъ эту теорію Вѣрѣ Павловнѣ; продолжая монологами и размышленіями Лопухова, убѣждающаго себя, что „жертва — сапоги въ смятку“; продолжая, далѣе,

взаимными самопожертвованіями Лопухова и Кирсанова, самопожертвованіями якобы на почвѣ эгоизма (глава „Теоретическій разговоръ") и разсужденіями Рахметова о нравственности; кончая четвертымъ сномъ Вѣры Павловны и разговорами Чарльза Бьюмонта, Лопухова-тожъ—однимъ словомъ, съ начала и до конца романа мы вездѣ находимъ настойчивую проповѣдь теоріи утилитаризма, теоріи личной выгоды и пользы. „То, что называютъ возвышенными чувствами, идеальными стремленіями — все это въ общемъ ходѣ жизни совершенно ничтожно передъ стремленіемъ каждаго къ своей пользѣ и въ корнѣ само состоитъ изъ того же стремленія къ пользѣ..." Такъ убѣждаютъ другъ друга дѣйствующія лица романа, такъ убѣждаетъ читателей авторъ. И даже типъ Рахметова—этого аскета и подвижника во имя идеи (конечно, все той же идеи русской революціи, какъ ясно изъ романа), человѣка, жертвующаго всей своей личной жизнью во имя принципа, даже этотъ типъ не вскрываетъ передъ Чернышевскимъ всей невозможности строить мораль на принципѣ личной выгоды, пользы. „Человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, *а потому* положимъ душу за други своя"—эта извѣстная шутка Влад. Соловьева о шестидесятникахъ болѣе близка къ истинѣ, чѣмъ многія серьезныя мнѣнія объ этой эпохѣ русской общественной мысли. „Человѣкъ въ своихъ поступкахъ руководствуется исключительно эгоизмомъ", *а потому* „умрите за общинное начало!"—вотъ двѣ дословныя фразы Чернышевскаго, соединенныя нами въ одно цѣлое; человѣкомъ двигаетъ только личная выгода, а потому положимъ душу за общее благо.

Какъ бы то ни было, но „разрушеніе морали" было рѣшительное — шестидесятники думали даже, что разрушеніе это было окончательное. И — что самое важное—оно не было исключительно теорети-

ческимъ; нѣтъ, всѣ главные выводы новой морали были немедленно проводимы въ жизнь. Взять хотя бы разсужденія Рахметова о ревности, о любви, объ отношеніи къ женщинѣ: все это не было отвлеченнымъ построеніемъ автора, все это было претворено въ плоть и кровь; разрушеніе старыхъ моральныхъ догмъ, стараго бытового уклада было несомнѣннымъ фактомъ, было дѣломъ рукъ разночинца. И какъ бы къ этому факту ни относиться, но, во всякомъ случаѣ, его громадное практическое значеніе не можетъ быть оспариваемо: достаточно вспомнить хотя бы то раскрѣпощеніе и освобожденіе русскихъ женщинъ, которое совершилось именно въ шестидесятыхъ годахъ и которое осталось навсегда прочнымъ завоеваніемъ этой эпохи.

Это положительное значеніе, это созиданіе новыхъ формъ жизни на мѣстѣ разрушаемаго стараго уклада надо особенно подчеркнуть, такъ какъ въ настоящее время есть тенденція слишкомъ свысока смотрѣть на крайне раціоналистическое теченіе шестидесятыхъ годовъ. „Разрушеніе философіи“, „разрушеніе эстетики“, „разрушеніе морали“ было съ теоретической стороны, конечно, совершенно безнадежнымъ предпріятіемъ; что осталось отъ этого „разрушенія“ черезъ десятокъ-другой лѣтъ? И, конечно, очень легко показать всю несостоятельность шестидесятниковъ, ихъ морали, основанной на принципѣ личной выгоды, ихъ философіи, воздвигаемой на основѣ догматическаго матеріализма, ихъ эстетики, отрицающей цѣнность искусства. Но не надо при этомъ забывать громаднаго положительнаго значенія всѣхъ этихъ разрушительныхъ теорій, которыя принесли гораздо больше практической пользы, чѣмъ теоретическаго вреда. Каковъ былъ главный аргументъ всѣхъ „разрушителей“? „Вотъ ultimatum нашего лагеря,—отвѣчаетъ Писаревъ:—что можно разбить,

то и нужно разбивать: что выдержитъ ударъ, то годится; что разлетится вдребезги, то-хламъ: во всякомъ случаѣ—бей направо и налѣво, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть" („Схоластика XIX вѣка"). И вотъ Чернышевскій бьетъ по философіи, Писаревъ бьетъ по Пушкину, Добролюбовъ бьетъ по цѣлому ряду общественныхъ предразсудковъ; эстетика, этика, философія —все подвергается ихъ ударамъ.

И что же? Пушкинъ остался невредимъ, а многіе общественные предразсудки дѣйствительно были разбиты; философія, этика, искусство остались цѣлы, а та палка, которою ихъ били—теорія утилитаризма и догматическій матеріализмъ — оказалась слишкомъ хрупкой и сама разлетѣлась вдребезги. Да, этотъ принципъ вѣренъ; „что разлетится вдребезги, то-хламъ"... Много ошибочныхъ ударовъ наносили шестидесятники и, несомнѣнно, приносили этимъ временный вредъ; но еще больше нанесли они ударовъ дѣйствительно вѣрныхъ, и общественное развитіе русскаго общества многимъ обязано имъ. Говоря словами Михайловскаго, въ эпоху шестидесятыхъ годовъ были по заслугамъ низвергнуты съ пьедестала многіе „насъ возвышающіе обманы", хотя поставленныя на ихъ мѣсто „низкія истины" далеко не всегда выдержали испытаніе удара и въ свою очередь скоро оказались разбитыми вдребезги. Послѣднему обстоятельству много способствовали тѣ крайности, къ которымъ пришло умственное теченіе второй половины шестидесятыхъ годовъ и которыя были объединены кличкой „нигилизма". Крайности эти связаны отчасти съ именемъ Писарева, а еще больше съ воззрѣніями его слишкомъ прямолинейныхъ послѣдователей.

XI.

Если умственное теченіе первой половины шестидесятыхъ годовъ съ достаточной степенью точности

характеризуется именемъ Чернышевскаго, то умственное теченіе второй половины этой эпохи характеризуется именемъ Писарева. Ясная и рѣзкая разница существуетъ между этими двумя теченіями мысли, несмотря на всѣ ихъ точки соприкосновенія: если „Современникъ" 1858 — 1862 гг. былъ органомъ демократовъ - соціалистовъ, то „Русское Слово" 1862—1866 гг. стало органомъ демократовъ-индивидуалистовъ; Чернышевскій былъ главнымъ представителемъ первыхъ, Писаревъ—главнымъ представителемъ вторыхъ. Основнымъ вопросомъ первыхъ былъ вопросъ соціально-экономическій, основной проблемой вторыхъ была проблема индивидуально-этическая—въ этомъ вся ихъ разница; но въ то же время рѣшеніе соціально-экономическаго вопроса являлось путемъ къ разрѣшенію запросовъ индивидуально-этическихъ, и, наоборотъ, рѣшеніе индивидуально-этической проблемы должно было повести къ разрѣшенію и соціально-экономическихъ вопросовъ — въ этомъ связь этихъ двухъ теченій мысли. Чернышевскій разрѣшалъ соціальный вопросъ о „голодныхъ и раздѣтыхъ" стройной экономической теоріей землевладѣльческой общины, долженствующей перейти въ высшую фазу своего развитія и привести къ торжеству соціалистическихъ идеаловъ, чѣмъ будутъ разрѣшены и всѣ индивидуальные запросы человѣческаго духа. Писаревъ, наоборотъ, рѣшалъ вопросъ о „голодныхъ и раздѣтыхъ" путемъ проповѣди самосовершенствованія и расширенія кадровъ интеллигенціи, „мыслящихъ реалистовъ", слѣдствіемъ чего неизбѣжно явится и рѣшеніе этой группой людей соціально-экономическаго вопроса.

Если первое изъ этихъ теченій мысли было дѣломъ разночинцевъ, то второе характеризуетъ собою міровоззрѣніе „кающихся дворянъ"; это опять-таки слова Михайловскаго, который во многихъ сво-

ихъ статьяхъ далъ ясную характеристику этихъ основныхъ общественныхъ и умственныхъ теченій шестидесятыхъ годовъ. „Возмущенная честь“ разночинцевъ требовала немедленнаго рѣшенія соціальнаго и политическаго вопросовъ, немедленнаго признанія правъ личности, государственныхъ гарантій ея свободы; „уязвленная совѣсть“ кающихся дворянъ требовала немедленнаго рѣшенія индивидуально-этической проблемы, отвѣта на вопросъ: какъ мнѣ жить свято, чтобы выплатить свой долгъ народу? Но въ концѣ-концовъ оба эти теченія не могли не слиться въ одно, такъ какъ слишкомъ было ясно, что уплата долга народу должна заключаться не въ одной индивидуальной „святости“, но и въ рѣшеніи тѣмъ или инымъ путемъ главнаго вопроса всего народа—вопроса соціальнаго, вопроса о „голодныхъ и раздѣтыхъ“.

Тѣмъ или инымъ путемъ; но какимъ же именно? Чернышевскій, какъ мы знаемъ, сперва вѣрилъ въ возможность рѣшенія этого вопроса путемъ правительственныхъ реформъ, но скоро понялъ всю несбыточность своихъ надеждъ и стыдился своей былой либеральной наивности, своей „глупости“, какъ онъ самъ выражался; онъ началъ тогда надѣяться на революцію, въ близость которой, однако, самъ плохо вѣрилъ. Хотя и очень вѣроятно, что Чернышевскій былъ авторомъ воззванія „къ барскимъ крестьянамъ“, но онъ не вѣрилъ въ дѣйствительность крестьянской революціи: „мужицкій бунтъ не важная опасность для васъ; войско легко разгонитъ мужицкіе бунты“,— говоритъ Волгинъ-Чернышевскій въ романѣ „Прологъ пролога“ помѣщику-крѣпостнику.

Итакъ, вѣра въ соціальный переворотъ сверху была скоро признана слишкомъ наивной, а надежда на соціальный переворотъ снизу была признана мало обоснованной; остался третій путь — возложить всѣ упованія на средній слой общества, на радикальную

интеллигенцію, на революціонную силу мысли. Отсюда проповѣдь Писарева, призывающая къ самосовершенствованію, къ созиданію интеллигентныхъ кружковъ, къ расширенію кадровъ „мыслящихъ реалистовъ". Когда этихъ „мыслящихъ реалистовъ" образуется большое число, то „самъ собою разрѣшится вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ", заявляетъ Писаревъ; иначе говоря—соціальную революцію произведетъ не „народъ", а интеллигенція, „мыслящій пролетаріатъ".

Таковы были общественныя чаянія и ожиданія Писарева; во главѣ угла его міровоззрѣнія стояла «интеллигентная личность», и это опредѣлило собою общее направленіе его міровоззрѣнія. Писаревъ закончилъ «разрушеніе» эстетики, философіи, морали для того, чтобы освободить личность отъ связывающихъ ее путъ; по этому пути онъ шелъ вслѣдъ за Чернышевскимъ, всегда подчеркивая свою солидарность съ этимъ дѣятелемъ первой половины шестидесятыхъ годовъ. Либеральные и консервативные журналы 1861—1866 гг. («Отечественныя Записки», «Библіотека для чтенія», «Время», «Русскій Вѣстникъ» и др.) съ торжествомъ указывали «Современнику», что Писаревъ совершаетъ лишь reductio ad absurdum идей Чернышевскаго, полагая слѣдовать по его стопамъ. Это, конечно, не совсѣмъ такъ: Писаревъ, правда, во многомъ шелъ дальше Чернышевскаго, но не доводилъ воззрѣнія послѣдняго до ихъ логическаго тупика, какъ это вскорѣ сдѣлали не въ мѣру рьяные послѣдователи Чернышевскаго и Писарева. Однако, дѣйствительно справедливо то, что болѣе рѣзкая и прямая формулировка Писаревымъ взглядовъ «мыслящихъ реалистовъ» много способствовала выясненію несостоятельности этихъ взглядовъ; въ концѣ шестидесятыхъ годовъ взгляды эти дѣйствительно были доведены до абсурда.

Началось съ того, что знаменемъ новаго теченія

былъ объявленъ романъ Чернышевскаго «Что дѣлать?». Въ своей статьѣ «Мыслящій пролетаріатъ» Писаревъ призналъ, что «никогда еще (это) направленіе... не заявляло себя на русской почвѣ такъ рѣшительно и прямо, никогда еще не представлялось оно... такъ рельефно, такъ наглядно и ясно», какъ въ этомъ романѣ. И правы всѣ литературные рутинеры, ненавидящіе и клянущіе этотъ романъ—«конечно, они правы: романъ глумится надъ ихъ эстетикой, разрушаетъ ихъ нравственность»... Главная же вина романа въ томъ, что онъ могъ сдѣлаться и дѣйствительно сдѣлался «знаменемъ ненавистнаго имъ направленія, указалъ ему ближайшія цѣли и вокругъ нихъ и для нихъ собралъ все живое и молодое»... Эти ближайшія цѣли, по мнѣнію Писарева, - разумѣется, концентрація интеллигенціи, увеличеніе числа «мыслящихъ реалистовъ»; ближайшія средства для этого—«научное міровоззрѣніе» (т.-е. догматическій матеріализмъ) и окончательное разрушеніе имъ всяческой этики, эстетики, философіи.

XII.

«Разрушеніе эстетики» (такъ озаглавилъ Писаревъ одну изъ своихъ статей 1865 года) было произведено мыслящими реалистами подъ прикрытіемъ имени Чернышевскаго, но заходило гораздо дальше первоначальныхъ намѣреній автора «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности». Чернышевскій имѣлъ все же нѣкоторый *эстетическій* критерій, онъ признавалъ «прекрасное» въ искусствѣ и жизни; правда, нѣсколько позднѣе онъ вмѣстѣ съ Добролюбовымъ замѣнилъ этотъ эстетическій критерій критеріемъ *утилитаристическимъ*, говоря не о красотѣ, а о полезности того или иного художественнаго произведенія. Писаревъ пошелъ еще дальше: опираясь

на диссертацію Чернышевскаго, онъ заявилъ, что окончательнымъ критеріемъ прекраснаго является критерій *физіологическій*.

«При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ намъ авторъ («Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности»), эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ физіологіи и гигіенѣ»,—пишетъ Писаревъ («Разрушеніе эстетики»). «Когда это превращеніе эстетики,—заявляетъ онъ въ другой статьѣ,—сдѣлается уже общеизвѣстной и общепризнанной истиной, тогда мы будемъ изучать и анализировать только тѣ пріятныя ощущенія, которыя могутъ сдѣлаться полезными или вредными для нашего здоровья и для нормальнаго развитія нашей рабочей силы...» («Посмотримъ!» 1865 г.).

Такимъ образомъ, эстетическія переживанія отождествляются съ вкусовыми или обонятельными раздраженіями; живопись, поэзія и музыка (т.-е. зрѣніе и слухъ) настолько же входятъ въ область физіологіи, какъ вкусъ, обоняніе или осязаніе. «Великій поваръ Дюссо», «великій Рафаель», «великій Бетховенъ»—все это величины одного порядка. Если какое-либо вкусовое, зрительное, слуховое и т. п. раздраженія доставляютъ мнѣ удовольствіе, то анализировать его должна физіологія, а дать ему оцѣнку—гигіена. Все же, что привходитъ въ эстетику сверхъ этого, подлежитъ упраздненію; всѣ эти «чувства прекраснаго» и тому подобные «насъ возвышающіе обманы» суть только видоизмѣненія полового чувства, проявленія «irritatio spinalis» (такъ заявлялъ въ «Русскомъ Словѣ» В. Зайцевъ). Любовь, вѣдь, тоже есть ни что иное, какъ исключительно половое влеченіе.

Нѣтъ необходимости подробно останавливаться на аналогичномъ отношеніи «мыслящихъ реалистовъ»

конца шестидесятыхъ годовъ къ философіи, къ морали: и въ той, и въ другой области пришлось бы отмѣтить такое же доведеніе до крайности главныхъ положеній позитивнаго міровоззрѣнія, при несомнѣнномъ пониженіи широты кругозора. Мѣсто Фейербаха занимаетъ Бюхнеръ и родственные ему писатели; уваженіе къ авторитету Бюхнера настолько велико, что Писаревъ, напримѣръ, въ своей статьѣ объ Огюстѣ Контѣ (1865 г.) считаетъ нужнымъ говорить объ отзывѣ Бюхнера о Контѣ и посвящаетъ большую статью «Физіологическимъ картинамъ» Бюхнера. Отъ Фейербаха къ Бюхнеру — это большой шагъ назадъ; догматическій матеріализмъ, эта примитивная форма метафизики, и не менѣе примитивная философія здраваго смысла стали господствующими во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. И вполнѣ естественно, что одновременно съ отрицаніемъ всякой «умозрительной философіи» зародилось и отрицательное отношеніе вообще къ теоріи, къ идеалу, къ теоретическому базису міровоззрѣнія. Писаревъ скоро отказался отъ этой крайне поверхностной точки зрѣнія, но многіе изъ «мыслящихъ реалистовъ» остались вѣрны ей еще въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ.

Вообще, чѣмъ дальше шло время, тѣмъ неизбѣжнѣе становился идейный крахъ міровоззрѣнія шестидесятниковъ: слишкомъ непримиримы были противорѣчія отдѣльныхъ частей этого міровоззрѣнія. Но для того, чтобы противорѣчія эти стали достаточно очевидными, надо было довести ихъ до послѣднихъ логическихъ предѣловъ, до ихъ крайняго развитія. Писаревъ много способствовалъ этому; еще больше способствовала этому вся масса разночинной интеллигенціи, проводившая теоріи въ жизнь гораздо дальше и прямолинейнѣе ихъ литературнаго проявленія. „Нигилизмъ“ шестидесятыхъ годовъ не могъ не придти въ концѣ-концовъ къ собственному саморазрушенію,

XIII.

„Нигилизмъ"—это слово, впервые въ русской литературѣ употребленное Надеждинымъ еще въ тридцатыхъ годахъ по поводу поэзіи Пушкина, а въ серединѣ шестидесятыхъ годовъ воскрешенное Тургеневымъ устами Базарова *),—стало съ этихъ поръ ходячимъ терминомъ, безсодержательнымъ вслѣдствіе своей широты. Нигилистами называли и Чернышевскаго, и послѣдователей Писарева, и Базаровыхъ, и народовольцевъ конца семидесятыхъ годовъ; такая наивная терминологія, конечно, не можетъ быть сохранена, что не мѣшаетъ этому слову имѣть вполнѣ точный, опредѣленный смыслъ.

Подъ нигилизмомъ слѣдуетъ понимать *отрицаніе всѣхъ цѣнностей—и объективныхъ, и субъективныхъ;* такой нигилизмъ ограниченъ довольно узкими рамками и обыкновенно бываетъ переходящимъ явленіемъ, неизбѣжнымъ, но недолговѣчнымъ эпизодомъ въ умственной жизни общества. Въ настоящее время смѣшно, конечно, вспоминать обвиненіе въ „нигилизмѣ" Надеждинымъ Пушкина, съ такой силой отстаивавшаго субъективную цѣнность жизни; не менѣе странно было бы называть нигилистомъ Чернышевскаго, боровшагося и за благо народа, и за счастье человѣческой личности, или даже Писарева, въ лучшую пору его дѣятельности (1863—1866 гг.). Дѣйствительными представителями нигилизма были лишь люди второй половины шестидесятыхъ годовъ, доведшіе до крайности принципъ отрицанія и выбро-

*) Впрочемъ, еще за четыре года до появленія „Отцовъ и дѣтей" Тургенева нѣкій „заслуженный профессоръ В. Берви" выпустилъ въ Казани курьезную книжку „Физіолого-психологическій сравнительный взглядъ на начало и конецъ жизни"; въ книжкѣ этой онъ сражается съ nihilist'ами, по его выраженію.

сившіе за бортъ всѣ и объективныя и субъективныя цѣнности міровоззрѣнія; нигилизмъ, какъ общее отрицаніе не внѣшнихъ формъ, а и всего внутренняго содержанія, былъ лишь временнымъ эпизодомъ въ развитіи русской общественной мысли.

Базаровъ Тургенева, Череванинъ Помяловскаго („Молотовъ“), Лопуховъ, Кирсановъ, Рахметовъ Чернышевскаго, Рязановъ Слѣпцова („Трудное время“), Раскольниковъ Достоевскаго, затѣмъ герои романовъ Писемскаго „Взбаломученное море“ и Лѣскова „Некуда“—вотъ рядъ литературныхъ типовъ различной художественной цѣнности, но нарисованныхъ въ одно и то же время (1861—1866 гг.) и долженствующихъ изображать „нигилиста“ съ положительной или отрицательной стороны. Однако, называть всѣхъ ихъ нигилистами—значитъ поддерживать ту неясность понятій, о которой рѣчь была выше; общее у большинства изъ перечисленныхъ типовъ заключается только въ томъ „отрицаніи“, которое выше мы охарактеризовали словами Писарева: „что можно разбить, то и нужно разбивать что выдержитъ ударъ, то годится“, а потому—„бей направо и налѣво, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть“... Но такое отрицаніе прекрасно уживается съ признаніемъ высшихъ объективныхъ цѣнностей. Базаровъ, напримѣръ, отрицаетъ „все“—и искусство, и поэзію, „и— страшно вымолвить что“, т.-е., казалось бы, всѣ и объективныя, и субъективныя цѣнности; но въ то же время онъ говоритъ о себѣ: „вѣдь, тоже думалъ: обломаю дѣлъ много, не умру, куда! задача есть, вѣдь, я гигантъ!..“ Не все, значитъ, онъ отрицаетъ, есть у него завѣтная цѣнность, есть свой Богъ, есть задача, требующая гигантскихъ силъ. Мы знаемъ, что это за задача это—задача *революціоннаго* возрожденія Россіи, стоявшая передъ русскими демократами послѣ крушенія ихъ вѣры въ правительство

(дѣйствіе романа происходитъ въ 1859 году). И самъ Тургеневъ поставилъ точку надъ і, заявивъ впослѣдствіи: „если Базаровъ называется *нигилистомъ*, то надо читать *революціонеръ*“..

Почти то же самое можно повторить о цѣломъ рядѣ другихъ „нигилистовъ“, главнымъ образомъ о тѣхъ изъ нихъ, которые обрисованы съ положительной стороны. Какіе же „нигилисты“ всѣ герои Чернышевскаго, хотя бы, напримѣръ, тотъ же Рахметовъ, заполоненный все той же революціонной идеей и приносящій ей въ жертву всю свою жизнь? Или герои романовъ Слѣпцова и Омулевскаго („Свѣтловъ“), точно также поставившіе цѣлью жизни это завѣтное слово „революція“? Народъ, благо народа—вотъ высшая объективная цѣнность всѣхъ этихъ „нигилистовъ“, какъ ни стараются они выставить себя „трезвыми эгоистами“, чуждыми всякаго „романтизма“; если это называть нигилизмомъ, то мы очень запутаемся въ терминологіи.

Всѣхъ такихъ людей Писаревъ назвалъ „реалистами“ и очень стоялъ за это слово (въ своей полемикѣ съ Антоновичемъ), указывая, что онъ первый приложилъ къ нимъ это названіе. Если мы пожелаемъ найти въ художественной литературѣ типъ нигилиста, то намъ придется обратиться не къ Базаровымъ, Рахметовымъ, Рязановымъ и Свѣтловымъ, а къ отрицательнымъ типамъ, нарисованнымъ такъ называемой „реакціонной беллетристикой“—къ романамъ Писемскаго, Лѣскова, Клюшникова. Но и во „Взбаломученномъ морѣ“, и въ „Некуда“, и въ „Маревѣ“ мы не найдемъ реальнаго типа нигилиста шестидесятыхъ годовъ, а найдемъ коллекцію уродовъ и злодѣевъ (особенно въ романѣ Лѣскова), нарисованныхъ слишкомъ по-суздальски. Одинъ только геніальный Ѳ. Достоевскій подошелъ близко къ психологіи „нигилизма“ въ типѣ Раскольникова; но

громадное философское значеніе „Преступленія и наказанія“ заслоняетъ собою отъ насъ бытовое значеніе этого романа. Принципъ абсолютнаго эгоизма, выведенный, какъ слѣдствіе изъ естественныхъ наукъ и являющійся въ то же время результатомъ отрицанія всякихъ объективныхъ и субъективныхъ цѣнностей, несомнѣнно, былъ присущъ нигилизму конца шестидесятыхъ годовъ: Достоевскій только углубилъ этотъ несомнѣнный фактъ теоріей Раскольникова „все позволено“ (впослѣдствіи еще болѣе имъ углубленной въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“). А что этотъ фактъ несомнѣненъ, мы знаемъ изъ неоспоримыхъ показаній очевидцевъ; однимъ изъ главныхъ является въ этомъ случаѣ Михайловскій, самъ пережившій въ концѣ шестидесятыхъ годовъ полосу „нигилизма“, но вскорѣ сумѣвшій выйти изъ этой мертвящей полосы; другимъ очевидцемъ, но уже „стороннимъ свидѣтелемъ“ былъ Герценъ, которому пришлось въ концѣ шестидесятыхъ годовъ близко столкнуться съ „нигилистами“ русской эмиграціи.

„Русскій нашъ нигилизмъ въ своемъ началѣ былъ, собственно, одно безплодное отрицаніе,— разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Пироговъ:— какая-то вялая обломовщина въ чисто русскомъ вкусѣ. Сидитъ, лежитъ и отрицаетъ. Дважды два— четыре: а кто мнѣ сказалъ, что дважды два четыре? На то Богъ умъ далъ. А кто его, этого Бога-то, знаетъ? Это идеалъ. А что такое идеалъ? Выше того, что видишь и щупаешь, ничего нѣтъ—и прочее и прочее въ этомъ родѣ. Такихъ, по крайней мѣрѣ, господъ я встрѣчалъ подъ названіемъ нигилистовъ“...

Эта характеристика относится къ тому времени развитія воинствующаго „реализма“, когда въ его задачу входило отрицаніе всего стараго, ломка направо и налѣво; но Пироговъ не замѣтилъ положительнаго значенія этого теченія, его политической

революціонности, его стремленія къ „благу народа“. Мы знаемъ, что, по мысли Тургенева, Базаровъ—не только „нигилистъ“, но и революціонеръ; такимъ же является, по мысли Чернышевскаго,—Рахметовъ, такими были даже Лопуховъ и Кирсановъ. Крайне интересно, что въ этихъ людяхъ Чернышевскій хотѣлъ видѣть будущихъ реформаторовъ и спасителей Россіи; не лишнее привести здѣсь его предсказанія о будущности этого типа людей. „Недавно родился этотъ типъ,—писалъ Чернышевскій въ 1863 году,—и быстро распложается. Онъ рожденъ временемъ, онъ—знаменіе времени, и—сказать ли?—онъ исчезнетъ вмѣстѣ со своимъ временемъ, недолгимъ временемъ. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью. Шесть лѣтъ тому назадъ этихъ людей не видѣли; три года тому назадъ презирали; теперь... но все равно, что думаютъ о нихъ теперь; черезъ нѣсколько лѣтъ, очень немного лѣтъ, къ нимъ будутъ взывать: спасите насъ! и что будутъ они говорить, будетъ исполняться всѣми; еще немного лѣтъ, быть можетъ и не лѣтъ, а мѣсяцевъ, и станутъ ихъ проклинать, и они будутъ согнаны со сцены, ошиканные, срамимые. Такъ что же, шикайте и срамите, гоните и проклинайте, вы получили отъ нихъ пользу, этого для нихъ довольно, и подъ шумъ шиканья, подъ громъ проклятій они сойдутъ со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, какъ были“... Такою рисовалась Чернышевскому грядущая революція (мы знаемъ, что онъ ждалъ ее къ 1865 году) и неизбѣжная за нею реакція; дѣятелями этой революціи должны были стать тѣ самые „реалисты“, которыхъ еще „не видѣли“ въ 1857 году, которыхъ „презирали“ и бранили „нигилистами“ въ 1860—1 гг. Въ этихъ людяхъ Чернышевскій хотѣлъ видѣть главныхъ дѣятелей грядущей революціи, жертвующихъ личнымъ счастьемъ общественному благу. Случилось иначе.

XIV.

Вслѣдствіе цѣлаго ряда общественныхъ условій, лучшіе изъ „реалистовъ“ были лишены возможности служить обществу; никакой революціи не послѣдовало, а бѣлый терроръ реакціи 1866 и слѣдующихъ годовъ нанесъ сильный ударъ мечтаніямъ лучшихъ изъ „реалистовъ“. Къ этому времени и относится не столько появленіе, сколько проявленіе того дѣйствительно нигилизма, т.-е. отрицанія всякихъ и объективныхъ и субъективныхъ цѣнностей, о которомъ мы упоминали выше. Непослѣдовательный утилитаризмъ выродился и не могъ не выродиться въ систему самаго послѣдовательнаго абсолютнаго эгоизма; „мыслящіе реалисты“, какъ типъ, обратились въ нигилистовъ.

Какъ случилось это превращеніе, объ этомъ красочно и подробно разсказываетъ Михайловскій въ своей статьѣ „Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ“ (1873 г.); онъ показываетъ, какъ поколѣніе начала шестидесятыхъ годовъ стало бороться съ „насъ возвышающимъ обманомъ“ во всѣхъ областяхъ общественной и личной жизни, какъ оно стало на мѣсто этого возвышающаго обмана ставить „низкія истины“, какъ дошло оно на этомъ пути до крайности, до расхожденія теоріи съ непосредственнымъ чувствомъ. „Напримѣръ: жертва есть сапоги въ смятку. Отцы наши (въ эпоху до крымской войны) много, слишкомъ много толковали о величіи и необходимости жертвъ, о жертвахъ Богу, отечеству, народу, любящему человѣку и проч., и проч. Это были лукавыя рѣчи, насъ возвышающій обманъ. И когда чаша переполнилась и пролилась, мы стали искать соотвѣтственныхъ низкихъ истинъ. Сначала пошло въ ходъ обличеніе. Открылось, что толки о

жертвахъ вполнѣ совмѣстимы съ обереганіемъ собственной шкуры во что бы то ни стало, съ поставкой на армію сапогъ безъ подошвъ и гнилой муки и т. д. За обличеніемъ слѣдовала провѣрка старыхъ идеаловъ, затѣмъ изслѣдованіе реальнаго дна круга явленій, связаннаго съ понятіемъ жертвы и самоотверженія. Реальное дно оказалось весьма просто: человѣкъ есть эгоистъ, каждый его шагъ, даже повидимому самый великодушный и самоотверженный, направленъ цѣликомъ къ пользамъ и наслажденіямъ его самого; самоотверженіе есть только частный случай самосохраненія; жертва есть фикція, нѣчто въ дѣйствительности не существующее — сапоги въ смятку. Останавливаясь на этой формулѣ, мы упускали изъ виду, что, во-первыхъ, расширеніе личнаго *я* до степени самоотверженія, до возможности переживать чужую жизнь — столько же реально, какъ и самый грубый эгоизмъ; и что, во вторыхъ, формула — жертва есть сапоги въ смятку — не покрываетъ нашего психическаго содержанія, ибо болѣе чѣмъ когда-нибудь мы были готовы приносить всевозможныя жертвы"... (Op. cit., 38—39).

И такимъ же путемъ строились и другія «низкія истины» шестидесятниковъ. Любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ; нравственно все, что естественно; наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ... Эти и тому подобныя «низкія истины» были для шестидесятниковъ лишь теоретическими положеніями міровоззрѣнія, а не практическими правилами поведенія; непосредственное чувство плохо подгонялось подъ эти параграфы эгоистическаго кодекса. И отказъ отъ всякихъ объективныхъ и субъективныхъ цѣнностей — нигилизмъ — начался только тогда, когда непосредственное чувство перестало противорѣчить этому кодексу эгоизма, когда эти ошибочные въ своей односторонности теоретическіе прин-

ципы стали въ то же время и правилами поведенія, когда эти мертвыя формулы были оторваны отъ живого процесса ихъ выработки. Въ той же своей статьѣ Михайловскій ясно обрисовываетъ это начало конца реализма, его вырожденіе въ отрицаніе всякихъ моральныхъ цѣнностей, въ нигилизмъ.

«...Мы вынесли много ломки, страданій и внутренней борьбы изъ-за этого разлада нашихъ скрытыхъ идеаловъ съ нашихъ открытымъ реализмомъ,— говоритъ Михайловскій въ этой своей статьѣ 1873 г., цитатой изъ которой мы заключимъ характеристику нигилизма.—Теперь все это уже улеглось. Кто сумѣлъ выкарабкаться, кто погибъ жертвой разлада, кто затонулъ въ омутѣ мелкой жизни, кто до сихъ поръ тянетъ старую канитель, но уже безъ стараго увлеченія и азарта. Недалеко отъ насъ это время— всего нѣсколько лѣтъ, но въ эти нѣсколько лѣтъ утекло такъ много воды, что будто цѣлая пропасть отдѣляетъ насъ отъ недавней поры исканія низкихъ истинъ для ниспроверженія насъ возвышающихъ обмановъ. Приливъ кончился, начался отливъ. Какъ волны морскія, отхлынувъ отъ берега, оставляютъ на немъ рыбъ, моллюсковъ, которымъ предстоитъ умереть внѣ родной стихіи, такъ и волны нашего общественнаго движенія, отхлынувъ, оставили на берегу вышеприведенныя краткія и грубыя формулы, которыя сами по себѣ, безъ оживляющаго насъ недавно духа, мертвы...» (Ibid.).

И вотъ эти-то мертвыя формулы стали практическими правилами поведенія нигилизма; внѣшняя форма осталась прежней, но одухотворявшее ее содержаніе медленно умирало. Такъ совершалась духовная агонія идеологіи шестидесятника-разночинца и паденіе самаго этого общественнаго типа, съ такой силой и бодростью начинавшаго свое общественное служеніе десятью годами ранѣе, принявшагося за

работу съ такой вѣрою въ высшія цѣнности человѣческаго духа.

Цѣнныя наблюденія надъ этой печальной эволюціей типа разночинца-шестидесятника оставилъ намъ Герценъ, не одинъ разъ обращавшійся къ характеристикѣ «нигилизма» въ различныхъ стадіяхъ его развитія. Герценъ не могъ сойтись близко даже съ лучшими изъ представителей разночинцевъ шестидесятыхъ годовъ—съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ; противъ нѣкоторыхъ тактическихъ (и, по мнѣнію Герцена, бестактныхъ) литературныхъ пріемовъ этихъ руководителей «Современника» Герценъ выступилъ съ довольно рѣзкой статьей «Very dangerous!!!» еще въ 1859 году («Колоколъ», № 44). Чернышевскій ѣздилъ по этому поводу въ Лондонъ объясняться съ Герценомъ, но понять и простить другъ другу многое, разъединяющее ихъ, два эти представителя различныхъ поколѣній и различныхъ общественныхъ типовъ не могли.

Для Чернышевскаго—Герценъ былъ представителемъ типа лишнихъ людей, чѣмъ-то вродѣ «хорошаго остова мамонта, интересной ископаемой кости, принадлежащей міру иного солнца и другихъ деревьевъ»; для Герцена—Чернышевскій былъ представителемъ типа «желчевиковъ», озлобленныхъ разночинцевъ, исполненныхъ желчи и отравы, но представляющихъ хотя болѣзненный, однако и явный шагъ впередъ. Но, предсказывалъ Герценъ, и эти «желчевики»—лишь кратковременные дѣятели на поприщѣ развивающагося русскаго сознанія: «лишніе люди сошли со сцены, за ними сойдутъ и *желчевики*, наиболѣе сердящіеся на лишнихъ людей. Они даже сойдутъ очень скоро... Смѣна имъ идетъ; мы уже видимъ, какъ... являются совсѣмъ иные люди съ непочатыми силами и крѣпкими мышцами, и, можетъ, намъ, старикамъ, еще придется черезъ болѣз-

ненное поколѣніе протянуть руку кряжу свѣжему, который кротко простится съ нами и пойдетъ своей широкой дорогой...» («Лишніе люди и желчевики»).

Кое-что въ этомъ Герценъ предсказалъ вѣрно: дѣйствительно, шестидесятники скоро сошли со сцены, а черезъ ихъ головы протянули руку Герцену представители народничества семидесятыхъ годовъ, Лавровъ и Михайловскій *). Но Герценъ упустилъ изъ виду тяжелый процессъ разложенія идеологіи шестидесятника, тяжелый періодъ идейнаго междуцарствія конца шестидесятыхъ годовъ съ его нигилизмомъ. Этому явленію Герценъ посвятилъ не мало вниманія, когда увидѣлъ, что «желчевики», которыхъ онъ не сумѣлъ оцѣнить, замѣнились не «свѣжимъ и здоровымъ» поколѣніемъ, а поколѣніемъ, доведшимъ до крайности всѣ внѣшнія и внутреннія противорѣчія людей начала шестидесятыхъ годовъ.

Сперва пришли Базаровы, затѣмъ Лопуховы и Кирсановы, затѣмъ уже и представители дѣйствительнаго нигилизма. Между книгой и жизнью, замѣчаетъ Герценъ, существуетъ обоюдостороннее взаимодѣйствіе: «книга беретъ весь складъ изъ того общества, въ которомъ возникаетъ, обобщаетъ его, дѣлаетъ болѣе нагляднымъ и рѣзкимъ и вслѣдъ затѣмъ бываетъ обойдена реальностью. Оригиналы дѣлаютъ шаржу своихъ рѣзко оттѣненныхъ портретовъ и дѣйствительныя лица вживаются въ свои литературныя тѣни... Русскіе молодые люди... послѣ 1862 года почти всѣ были изъ «Что дѣлать?» съ прибавленіемъ нѣсколькихъ базаровскихъ чертъ...» («Еще разъ Базаровъ», письмо первое). Эти шаржированные Базаровы и Лопуховы были шагомъ назадъ сравнительно

*) Герценъ замѣтилъ и оцѣнилъ статью Михайловскаго «Что такое прогрессъ?»; въ письмѣ къ Огареву отъ 1869 г., порицая тяжелую внѣшнюю форму изложенія, онъ замѣчаетъ однако, что «сущность хороша».

съ «желчевиками», людьми съ широкимъ кругозоромъ, несмотря на всю свою нетерпимость; «съ появленіемъ этихъ новыхъ людей горизонтъ нашъ не расширился, а сузился», — разсказываетъ Герценъ. Послѣ нихъ пришли, наконецъ, типичные нигилисты, «тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители новаго поколѣнія, которыхъ можно назвать Собакевичами и Ноздревыми нигилизма», и которые представляютъ «черезчурную крайность» въ развитіи своего поколѣнія; правда, Герценъ надѣялся, что «все это переработается и перемелется», но онъ не могъ не впасть въ уныніе, видя, какъ «многообѣщающіе всходы проросли... *дантистами* нигилизма и базаровской безпардонной вольницы» («Общій фондъ», «Былое и думы»). Эти представители нигилизма уперлись въ тупикъ, довели до абсурда скрытыя противорѣчія міровоззрѣнія шестидесятыхъ годовъ; міровоззрѣніе это было разрушено не ударами противниковъ, а внутреннимъ процессомъ саморазложенія.

Этимъ закончились шестидесятые годы. Слѣдующему десятилѣтію предстояло разобраться въ полученномъ наслѣдствѣ, отдѣлить пшеницу отъ плевелъ, построить новое зданіе на старомъ фундаментѣ и примирить взгляды и воззрѣнія разночинцевъ и кающихся дворянъ. Мы знаемъ, что и тѣ и другіе довели въ шестидесятыхъ годахъ свои воззрѣнія до тупика: гипертрофія «уязвленной совѣсти» кающагося дворянина привела его къ безплодной въ общественномъ отношеніи теоріи личной «святости», а гипертрофія «возмущенной чести» разночинца привела его въ концѣ-концовъ къ самоудовлетворенію въ теоріи абсолютнаго эгоизма, къ отрицанію всякихъ цѣнностей — къ нигилизму.

Это былъ тупикъ, изъ котораго не было выхода. Надо было вернуться назадъ, надо было соединить все здоровое, что дали русскому сознанію шестиде-

сятые годы; сдѣлать это выпало на долю критическому народничеству семидесятыхъ годовъ въ лицѣ его главныхъ представителей—Лаврова и Михайловскаго. Въ 1868—1870 гг. появляются знаменитыя «Историческія письма» Лаврова, вскорѣ начинается «хожденіе въ народъ»; теорія абсолютнаго эгоизма отбрасывается въ сторону, какъ явно ложная: все это—капитуляція разночинца кающемуся дворянину. Но и послѣдній съ этихъ поръ принимаетъ отъ разночинца идею личности; «благо народа» и «благо личности» сливаются въ единомъ критеріи Михайловскаго и этимъ преодолѣвается тотъ нигилизмъ, который такъ рѣзко отвергалъ всяческія цѣнности.

Все это, конечно, тотчасъ же находитъ отраженіе и въ художественной литературѣ семидесятыхъ годовъ, подобно тому, какъ въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ ярко отразились всѣ общественныя и умственныя теченія эпохи. Окинувъ эту эпоху общимъ взглядомъ, мы можемъ перейти теперь къ болѣе подробному знакомству съ міровоззрѣніями самыхъ крупныхъ ея представителей—Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева.

Чернышевскій.

I.

Мы видѣли, какъ Бѣлинскій, раскланявшись съ гегельянской «разумной дѣйствительностью», пришелъ въ началѣ сороковыхъ годовъ къ «соціальности» и къ соціализму; какъ Герценъ, извѣрившись и въ утопическомъ соціализмѣ, и въ возможности соціальнаго переворота, сталъ родоначальникомъ народничества, этого «русскаго соціализма».

Это словосочетаніе — «русскій соціализмъ» — подвергалось, кстати сказать, насмѣшливой критикѣ, основывавшейся на томъ, что «научный соціализмъ» — единъ и не можетъ быть ни французскимъ, ни русскимъ, такъ же какъ нѣтъ и не можетъ быть русской ариѳметики или французской физики... Въ этомъ есть доля правды: соціологія, эта «наука будущаго» — едина, но законы ея будутъ приложимы въ различныхъ соціальныхъ условіяхъ, а значитъ и съ различными результатами; соціализмъ долженъ сообразоваться съ ними, и дѣйствительно сообразуется. Въ зависимости отъ своеобразности и различія условій соціальной среды, есть соціализмъ англо-саксонскій (характеризуемый трэдъ-юніонизмомъ), французскій (въ различныхъ видахъ гедизма, аллеманизма, малонизма и др.), германскій (якобы «единственно-научный» и воплощенный въ марксизмѣ); существуетъ и русскій соціализмъ, воплощенный въ народничествѣ и связанный непрерывной традиціей отъ Герцена

черезъ Чернышевскаго, Лаврова, Михайловскаго къ соціалистамъ-революціонерамъ конца XIX вѣка.

Чернышевскій пошелъ далѣе по пути, намѣченному Герценомъ; онъ придалъ народничеству научную форму, освободилъ его отъ тѣхъ субъективныхъ надстроекъ, которыя объяснялись личными переживаніями Герцена; онъ былъ главнымъ выразителемъ соціалистическаго направленія русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ.

И прежде всего надо указать на то, что утопическимъ соціалистомъ Чернышевскій не былъ никогда. Русская интеллигенція пережила и перечувствовала утопическій соціализмъ въ лицѣ прежде всего Бѣлинскаго, а затѣмъ—петрашевцевъ; уже Герценъ, послѣ 1848 года, смѣло вступилъ своими теоріями на путь соціализма реальнаго; Чернышевскій, конечно, не могъ вернуться назадъ. Если въ его романѣ «Что дѣлать?» (1862—63 гг.) конечныя цѣли соціализма ярко раскрашены всѣми цвѣтами фурьеризма, то не надо забывать, для какого читателя Чернышевскій писалъ свой романъ; романъ этотъ—намѣренно лубочное произведеніе, написанное исключительно съ пропагандистской цѣлью. «Читай, добрѣйшая публика! прочтешь не безъ пользы. Истина—хорошая вещь!—насмѣшливо обращается къ своей аудиторіи Чернышевскій:—... ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива... Тебѣ, проницательный читатель, я скажу, что это (рѣчь идетъ про Рахметова)—не дурные люди; а то, вѣдь, ты, пожалуй, не поймешь самъ-то!..»

Если бы, пропагандируя передъ подобной аудиторіей соціализмъ, Чернышевскій дошелъ бы даже, вслѣдъ за Фурье, до пресловутыхъ анти-львовъ, анти-акулъ и морей изъ лимонада, то и въ такомъ случаѣ трудно было бы обвинить его (какъ соціолога, а не романиста) въ приверженности къ утопическому

соціализму. Въ отвѣтъ на такое обвиненіе достаточно указать хотя бы только на отзывъ Чернышевскаго о системахъ утопическаго соціализма въ VI-й главѣ „Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы“ („Современникъ“ 1856 г., № 9), и на еще болѣе рѣзкій отзывъ въ статьѣ „Studien, Гакстгаузена“ (Ib., 1857 г., № 7). Утопическій соціализмъ, говоритъ Чернышевскій, пережилъ самъ себя; сражаться съ нимъ въ серединѣ XIX вѣка такъ же смѣшно, какъ, напримѣръ, начать ожесточенную борьбу съ идеями Вольтера: все это дѣла давно минувшихъ дней, дѣла временъ очаковскихъ и покоренья Крыма.

Итакъ, народничество Чернышевскаго (мы еще убѣдимся ниже, что его міровоззрѣніе было именно народничествомъ) носило вполнѣ реальную окраску; мы увидимъ, что Чернышевскій освободилъ русскій соціализмъ отъ двухъ-трехъ чертъ утопизма, приданныхъ народничеству Герценомъ, вродѣ признанія поголовнаго мѣщанства Европы и убѣжденія въ антимѣщанствѣ крестьянскаго тулупа. Отъ этихъ болѣе чѣмъ проблематическихъ положеній Чернышевскій перенесъ центръ тяжести народничества въ совершенно другую сторону; именно онъ обратилъ главное вниманіе на противопоставленіе „націи“ и „народа“,— противопоставленіе, замѣченное нами въ скрытой формѣ еще у Радищева; мы видѣли также, что отсутствіе этого противопоставленія, смѣшеніе понятій „націи“ и „народа“ составляло одну изъ главныхъ ошибокъ славянофильства. У Герцена мы нашли только нѣсколько штриховъ, касающихся этихъ понятій; теперь у Чернышевскаго мы увидимъ ясное ихъ раздѣленіе. Въ западно-европейскомъ соціализмѣ понятія націи и народа впервые были окончательно разграничены Энгельсомъ, а вслѣдъ за нимъ и Марксомъ; въ русскомъ соціализмѣ вполнѣ самостоятельно пришелъ къ этой мысли Чернышевскій.

II.

Впервые Чернышевскій коснулся этого вопроса, защищая принципъ общиннаго владѣнія; въ отдѣлѣ „Замѣтки о журналахъ“ („Совр.“ 1857 г., № 5) Чернышевскій, пользуясь своимъ любимымъ „гипотетическимъ методомъ“, дѣлаетъ слѣдующія интересныя выкладки *). Онъ готовъ согласиться, что общинное землепользованіе уступаетъ по цѣнности производства обработкѣ земли собственникомъ почти въ два раза; пусть десятина общинная даетъ 12 р. дохода, а десятина владѣльческая—20 р. дохода. (Въ статьяхъ „О поземельной собственности“, „Совр.“ 1857 г., №№ 9 и 11, Чернышевскій доказалъ, что предполагаемыя имъ цифры могли бы быть измѣнены только въ сторону уменьшенія разности между двумя вышеприведенными случаями дохода). Предположимъ теперь, что мы имѣемъ случай изучать два участка земли по 5000 десят. въ каждомъ, одинъ съ общиннымъ землепользованіемъ, другой—собственническій, причемъ послѣдній раздѣленъ на 30 арендаторскихъ участковъ съ улучшеннымъ хозяйствомъ. Очевидно, что общая цѣнность производства на первомъ участкѣ будетъ 60.000 р., а на второмъ—100.000 р. Такова цѣнность *производства*; но Чернышевскій переходитъ къ изученію системъ *распредѣленія*.

Предполагая, что на обоихъ участкахъ плотность населенія одинакова (напримѣръ, 400 семей, принимая семью за единицу); предполагая, что изъ 20 р. дохода съ десятины владѣльческой земли 5 р. идетъ въ арендную плату, 6 р. на уплату рабочимъ семьямъ

*) Въ приводимыхъ выкладкахъ мною исправлены явно ошибочныя цифры Чернышевскаго.

и 9 р. остаются въ пользу арендатора—не трудно вычислить, что при общинномъ землепользованіи каждая изъ четырехсотъ семей получитъ по 150 р. въ годъ; на владѣльческомъ же участкѣ одна семья (землевладѣлецъ) получитъ 25.000 р., 30 семей (арендаторы) по 1.500 р. и 369 семей (наемные работники) по 81 р. 30 к. Отсюда заключительный выводъ: цѣнность производства на владѣльческомъ участкѣ почти вдвое выше, чѣмъ на общинномъ (100.000 : 60.000), а благосостояніе трудящейся массы, народа, на общинномъ участкѣ почти вдвое выше, чѣмъ на владѣльческомъ ($150 : 81^3/_{10}$). „Что кому милѣе, тотъ тому и отдаетъ предпочтеніе“,—иронически замѣчаетъ Чернышевскій, придя къ такому выводу.

И это—центральный пунктъ народничества Чернышевскаго; *національное богатство или народное благосостояніе?*—такова поставленная имъ дилемма, таково противопоставленіе понятій „нація“ и „народъ“; Чернышевскій ясно вскрылъ различіе этихъ понятій, указавъ на равенство отношеній націи къ народу и производства къ распредѣленію. Очевидно, какъ рѣшалъ Чернышевскій имъ же самимъ поставленную дилемму: „...мы всегда готовы стать на сторонѣ той партіи,—писалъ онъ,—которая успѣетъ доказать, что ея рѣшеніе вопроса сообразнѣе съ народнымъ благосостояніемъ“ („Совр.“ 1857 г., № 6; Библіографія); но тутъ же надо подчеркнуть, что Чернышевскій неоднократно настаивалъ на условномъ смыслѣ поставленной имъ дилеммы: онъ никогда не противопоставлялъ безусловно націю народу, богатство — благосостоянію, систему наибольшаго производства — системѣ наивыгоднѣйшаго распредѣленія.

Если соціальныя условія страны таковы, что національное богатство и народное благосостояніе

сталкиваются лбами, *то*, не колеблясь ни одной минуты надо стать на сторону народнаго благосостоянія: таковъ дѣйствительный смыслъ дилеммы Чернышевскаго; но отсюда еще далеко до утвержденія, что подобное столкновеніе всегда имѣетъ мѣсто. „Умноженіе народнаго (т.-е. національнаго) капитала—это то же самое, что возвышеніе народнаго благосостоянія, если понимать слово „капиталъ“ въ его истинномъ смыслѣ“..., говоритъ Чернышевскій, прибавляя, что подъ капиталомъ надо понимать не только массу звонкой монеты, фабрики, машины, товары и проч. („Совр.“ 1857 г., № 10; критика); впослѣдствіи, въ своихъ знаменитыхъ примѣчаніяхъ къ „Основаніямъ политической экономіи“ Милля („Совр.“ 1860 г.), Чернышевскій опредѣлилъ капиталъ, какъ „продукты труда, которые служатъ средствами для новаго производства“.

Почти одновременно съ Чернышевскимъ подобное положеніе высказалъ и К. Марксъ, заявляя, что нѣкоторая сумма цѣнностей тогда только превращается въ капиталъ, когда она „sich verwertet“, т.-е. затрачивается въ предпріятіе, образуя прибавочную цѣнность, когда оно воспроизводится съ извѣстной надбавкой. И Марксъ и Чернышевскій оба заимствовали свое опредѣленіе капитала у Рикардо, причемъ Марксъ, подъ вліяніемъ Родбертуса, нѣсколько видоизмѣнилъ, а Чернышевскій заимствовалъ почти буквально; сильное вліяніе Рикардо—это надо отмѣтить—сказывается на всѣхъ экономическихъ воззрѣніяхъ Чернышевскаго. Какъ бы то ни было, но Чернышевскій не противъ капитала, не противъ національнаго богатства, *если* послѣднее идетъ на пользу народному благосостоянію. Приведу для доказательства этого еще двѣ характерныя для Чернышевскаго выкладки.

III.

Въ своемъ четвертомъ замѣчаніи („Обзоръ отдѣла о трудѣ") къ тремъ первымъ главамъ Милля Чернышевскій указываетъ на возможность увеличенія національнаго богатства во много разъ при одновременномъ уменьшеніи народнаго благосостоянія. Предположимъ, что въ обществѣ изъ 4000 чел. имѣется 1000 взрослыхъ работниковъ, изъ которыхъ каждый производитъ въ годъ по 25 четв. пшеницы, причемъ эти 25 четв. пшен. равноцѣнны 1/10 фунта золота. Капитализируя эту цѣнность, напримѣръ, изъ 5 %, мы безъ труда найдемъ, что ежегодное производство общества представляетъ изъ себя проценты съ денежнаго эквивалента въ 50 пуд. золота, что и можетъ служить мѣрою „національнаго богатства" страны *). Предположимъ теперь, что 200 чел. изъ взрослыхъ мужчинъ покинуло общество и что изъ нихъ вернулись обратно 150 чел., и вернулись разбогатѣвшими: каждый привезъ съ собою по пуду золота. Чѣмъ будетъ теперь измѣряться „національное богатство" этого общества? Если даже допустить, что прибывшіе полтораста богачей не оторвутъ отъ производительнаго труда ни одного изъ взрослыхъ работниковъ (что мало вѣроятно), то все же послѣднихъ всего 800 чел.; капитализируя по прежнему проценту ежегодное производство общества, мы получимъ мѣру національнаго богатства въ 40 пуд. золота, къ которымъ надо прибавить еще 150 пуд. золота, ввезеннаго въ страну. Итакъ, теперь націо-

---

*) Нетрудно вычислить, что ежегодное производство страны= 25.000 четв. пш., которыя эквивалентны $2^1/_2$ пуд. золота; капитализируя, имѣемъ $x=\frac{2^1/_2.100}{5}=50$ пуд. зол.

нальное богатство измѣряется 190 пуд. золота, т.-е. оно увеличилось въ $3^{4}/_{5}$ раза. Обратимся теперь къ народному благосостоянію. Въ первомъ періодѣ 25.000 ежегодно производимыхъ четвертей пшеницы распредѣлялись на 4000 чел., а значитъ на каждаго приходилось $6^{1}/_{4}$ четв. пшеницы; во второмъ періодѣ ежегодно производятся 20 000 четв. пш. на 3950 чел., т.-е. въ среднемъ на каждаго около $5^{1}/_{16}$ четв. пш. Нетрудно видѣть, что народное благосостояніе уменьшилось приблизительно въ $1^{1}/_{4}$ раза.

Это случай, когда національное богатство и народное благосостояніе сталкиваются между собою и когда передъ нами во всей ея остротѣ стоитъ дилемма: или—или *).

Возьмемъ теперь другой случай: то же самое общество въ другой стадіи его развитія. Пусть передъ нами снова прежнее количество населенія (4000 чел.) и тысяча взрослыхъ работниковъ; пусть изъ нихъ только 600 человѣкъ заняты производительнымъ трудомъ, а остальные 400 взрослыхъ работниковъ заняты непроизводительнымъ трудомъ (вмѣсто терминовъ «производительный» и «непроизводительный» Чернышевскій всегда употребляетъ термины «выгодный» и «убыточный»), причемъ всѣ они вмѣстѣ получаютъ 100.000 р., т.-е. на занятіе каждаго изъ нихъ работою употребляется покупательная сила въ 100 рублей. Капиталъ страны заключается въ пшеницѣ, которой въ обществѣ находится 25.000 четв. (т.-е, попрежнему $6^{1}/_{4}$ четв. на жителя) и покупа-

---

*) Очевидно, что чѣмъ большимъ мы бы брали процентъ капитализаціи, тѣмъ больше было бы увеличеніе національнаго богатства; легко было бы показать, что въ данномъ случаѣ увеличеніе это выразится формулой $y=\frac{3\ +4}{5}$, гдѣ a—процентъ капитализаціи.—Замѣчу кстати, что я нѣсколько измѣнилъ форму выкладокъ Чернышевскаго, не измѣняя ихъ сущности.

тельной силой для которой служатъ вышеуказанные 100.000 рубл. (т.-е. цѣна пшеницы 4 р. четверть). Положимъ теперь, что одинъ изъ жителей покинулъ общество и вернулся, привезя съ собой 100.000 р., которые онъ хочетъ вложить въ землю. Отъ этихъ ста тысячъ рублей капиталъ страны не увеличился ни на одно пшеничное зерно, но прибавилось на сто тысячъ покупательной силы. Слѣдствія будутъ слѣдующія: прежде, при покупательной силѣ въ сто тысячъ рублей, непроизводительнымъ трудомъ занимались 400 человѣкъ изъ тысячи, на что употреблялось 40.000 р., т.-е. 40% всей покупательной силы, а на производительный трудъ оставалось 60% покупательной силы. Теперь вся покупательная сила— двѣсти тысячъ рублей, причемъ всѣ новыя сто тысячъ обращены волею владѣльца на производительный трудъ; на непроизводительный трудъ идетъ попрежнему 400.000 р., но теперь они составляютъ только 20% всей покупательной силы и поэтому въ состояніи отвлечь отъ производительнаго труда къ непроизводительному уже не 400, а только 200 работниковъ; остальные 800 раб. получатъ за производительный трудъ остальныя 160.000 р. На первый годъ существуетъ для продажи только 25.000 четв. пшеницы и работники имѣютъ 200.000 р., чтобы заплатить за это количество хлѣба. Цѣна четверти будетъ 8 р., т.-е. вдвое больше, но трудъ каждаго работника даетъ теперь не 100, а 200 рублей, т.-е. также вдвое больше, такъ что пока ни капиталъ страны не увеличился, ни работники не выиграли. Но въ теченіе года занимались производствомъ пшеницы не 600 работниковъ, какъ прежде, а 800 раб.; поэтому, если 600 раб. производили 25.000 четв. пшен., то 800 раб. произведутъ 33 333$^1/_3$ четв. пшеницы, а значитъ на каждаго жителя будетъ приходиться уже не 6$^1/_4$ четв., а 8$^1/_3$ четв. Иначе говоря,

въ этомъ случаѣ и національное богатство (капиталъ) и народное благосостояніе увеличились въ $1^1/_3$ раза.

Чернышевскій предполагаетъ, вопреки Мальтусу и Рикардо, что масса земледѣльческихъ продуктовъ возрастаетъ, по крайней мѣрѣ, такъ же быстро, какъ масса рабочихъ силъ, обращенныхъ на земледѣліе. Слѣдуя за Мальтусомъ, пришлось бы взять вмѣсто $33.333^1/_3$ четв. приблизительно 300.000 четв (Вышеприведенный примѣръ находится въ прибавленіи «Понятіе капитала» къ IV, V и VI главамъ Милля. Я попрежнему измѣнилъ нѣсколько форму выкладокъ, не измѣняя ихъ сущности).

Впослѣдствіи намъ придется вернуться къ общей постановкѣ этого вопроса, а потому считаю не лишнимъ дать здѣсь анализъ общаго случая перехода отъ непроизводительнаго труда къ производительному. Предположимъ, что P—покупательная сила страны; число рабочихъ, занятыхъ производительнымъ трудомъ—n_1, непроизводительнымъ—n_2. Тогда $\frac{P}{n_1+n_2}$ есть покупательная сила, употребляемая на занятіе каждаго изъ нихъ работою. Положимъ теперь, что мы желаемъ привлечь $\frac{1}{m}$ часть рабочихъ отъ непроизводительнаго труда къ производительному, причемъ новая покупательная сила будетъ P_1; очевидно, что $P_1=f(m)$. Чтобы представить эту функцію въ явномъ видѣ, замѣтимъ, что, отвлекая $\frac{1}{m}$ часть занятыхъ непроизводительнымъ трудомъ, т.-е. $\frac{n_2}{m}$ рабочихъ, мы оставляемъ при этомъ трудѣ $n_2-\frac{n_2}{m}$ рабочихъ, или иначе: $\frac{m-1}{m}\cdot n_2$ рабочихъ силъ; на каждаго изъ этихъ оставшихся будетъ употребляться новая покупательная сила $\frac{P_1}{n_1+n_2}$, а на всѣхъ ихъ $\frac{m-1}{m}\,n_2.\,\frac{P_1}{n_1+n_2}$, при-

чёмъ эта покупательная сила должна быть равна той, которая употреблялась раньше на всѣхъ n_2 рабочихъ, когда на каждаго изъ нихъ употреблялась покупательная сила $\frac{P}{n_1+n_2}$, а значитъ на всѣхъ ихъ $n_2 . \frac{P}{n_1+n_2}$. Отсюда имѣемъ уравненіе $\frac{m-1}{m} . n_2 . \frac{P_1}{n_1+n_2} = n_2 . \frac{P}{1+n_2}$, рѣшая которое, мы получаемъ $P_1 = P \frac{m}{m-1}$. Въ разобранной выше выкладкѣ Чернышевскаго мы имѣли случай $m = 2$ (къ производительному труду отвлекалась половина всѣхъ занятыхъ непроизводительнымъ трудомъ рабочихъ); тогда $P_1 = 2P$, что мы и видѣли у Чернышевскаго: старая покупательная сила была 100.000 р., новая же 200 000 р. Намъ еще придется воспользоваться выведенной здѣсь формулой и опровергнуть ею впослѣдствіи одно изъ основныхъ «экономическихъ» положеній Льва Толстого.

IV.

Всѣ эти нѣсколько утомительныя выкладки намъ необходимы для того, чтобы не былъ голословнымъ слѣдующій окончательный выводъ: когда «національное богатство» тождественно съ «капиталомъ» (въ смыслѣ, принимаемомъ Чернышевскимъ,) то оно не противорѣчитъ народному благосостоянію; это бываетъ при увеличеніи пропорціи покупательной силы, обращенной на производительный трудъ. Наоборотъ, при уменьшеніи этой пропорціи, и въ томъ случаѣ, когда «національное богатство» понимается въ смыслѣ «массы цѣнностей» или «системы наибольшаго производства»—народное благосостояніе и національное богатство вполнѣ противоположны другъ другу. И въ томъ и въ другомъ случаѣ. однако, критеріумомъ, рѣшающимъ поставленную дилемму, является *система*

распредѣленія, и это надо особенно подчеркнуть, такъ какъ въ этомъ положеніи скрытъ одинъ изъ наиболѣе важныхъ признаковъ народничества.

Приматъ распредѣлительнаго момента надъ производственнымъ, или, говоря короче, *приматъ распредѣленія надъ производствомъ* въ экономикѣ—таковъ этотъ принципъ русскаго соціализма, впервые ясно проведенный Чернышевскимъ. Нетрудно догадаться, что принципъ этотъ былъ направленъ противъ эпигоновъ западничества, русскихъ манчестерцевъ, вся политико-экономическая мудрость которыхъ заключалась въ принципѣ наибольшаго производства. Мы увидимъ, что приматъ распредѣленія надъ производствомъ и борьба съ системой наибольшаго производства характеризуютъ собою всю дальнѣйшую исторію русскаго народничества, обвиненнаго за это впослѣдствіи русскимъ марксизмомъ въ «экономической романтикѣ». Мы увидимъ, что марксизмъ выставлялъ противоположный принципъ примата производства надъ распредѣленіемъ, хотя и съ совершенно иной точки зрѣнія, чѣмъ манчестерство: согласно теоріи Маркса, распредѣленіе средствъ потребленія есть лишь слѣдствіе распредѣленія условій производства; мы увидимъ, наконецъ, что въ концѣ концовъ это положеніе, доведенное до крайности ортодоксальнымъ марксизмомъ, было отвергнуто, какъ не отвѣчающее дѣйствительности. Какъ бы то ни было, но приматъ распредѣленія надъ производствомъ остается характерно народническимъ построеніемъ, впервые ясно выраженнымъ еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Чернышевскимъ.

Итакъ, «капиталъ» и все связанное съ нимъ не противорѣчитъ народному благосостоянію. Но здѣсь возникаетъ слѣдующій, центральный для народничества, вопросъ: тѣ части капитала, которыми передается дѣятельность труда предметамъ, обрабатыва-

емымъ его силою, требуютъ раздѣленія труда, которое, съ точки зрѣнія блага реальной личности, можетъ оказаться вполнѣ отрицательнымъ явленіемъ. Съ разрѣшенія этого вопроса началось въ семидесятыхъ годахъ критическое народничество Михайловскаго, который указалъ на необходимость различенія физіологическаго и экономическаго раздѣленія труда; мы будемъ еще говорить объ этомъ подробно.

Чернышевскій и въ этомъ направленіи впервые намѣтилъ дорогу въ своемъ «Замѣчаніи на главу VIII» Милля. Онъ ясно видѣлъ «физіологическое послѣдствіе раздѣленія труда при нынѣшнемъ экономическомъ порядкѣ», заявляя, что «вредное дѣйствіе раздѣленія труда на экономическій бытъ и на самый организмъ рабочаго сословія при нынѣшнемъ порядкѣ дѣлъ не подлежитъ сомнѣнію»; онъ ясно ставилъ этотъ трагическій для народничества вопросъ: «для человѣческаго благосостоянія нужно усиленіе производства, а возрастаніе производства требуетъ раздѣленія труда... Мы имѣемъ двѣ формулы, соединеніе которыхъ даетъ тотъ выводъ: элементъ, развитіе котораго необходимо для благосостоянія, гибеленъ для массы людей своимъ развитіемъ».

Мы увидимъ, какъ отвѣтило на этотъ вопросъ народничество семидесятыхъ годовъ: пусть степень экономическаго развитія страны будетъ ниже, лишь бы типъ ея былъ достаточно высокъ; иными словами, это сводилось къ отрицанію благодѣятельности экономическаго раздѣленія труда для народнаго благосостоянія. Каковъ бы ни былъ этотъ отвѣтъ, но ему нельзя отказать въ смѣлости и опредѣлительности; это дѣйствительно радикальное рѣшеніе вопроса, смѣлое разсѣченіе гордіева узла. Чернышевскій попытался пройти между Сциллой и Харибдой и далъ рѣшеніе явно— для него же самого—невозможное и непримѣнимое. Бѣда не въ томъ, что необходимо раздѣленіе труда,

заявляетъ Чернышевскій, а въ томъ, что это раздѣленіе не проводится достаточно далеко: «при высокомъ раздѣленіи труда нѣтъ работнику никакого затрудненія поочередно переходить отъ одной операціи къ другой, мѣняя ихъ такъ, чтобы организмъ его поочередно работалъ всѣми частями»... Крайнюю абстрактность такого рѣшенія вопроса — рѣшенія, впервые даннаго Фурье,—сознаетъ и самъ Чернышевскій, признавая, что фабриканту невыгодно подобное непостоянство занятій, которое поэтому и неосуществимо при нынѣшнемъ капиталистическомъ строѣ; рѣшеніе Чернышевскаго падаетъ само собою, сохраняя свою силу развѣ только для далекаго будущаго, для эпохи соціалистическаго производства.

Неудивительно поэтому, что самъ же Чернышевскій склоняется къ тому рѣшенію, которое, какъ мы указали, было дано впослѣдствіи Михайловскимъ, въ его теоріи степеней и типовъ развитія; и въ этомъ случаѣ Чернышевскій является предшественникомъ замѣчательнѣйшаго изъ теоретиковъ русскаго соціализма семидесятыхъ годовъ, связывая степень и типъ экономическаго развитія (безъ употребленія этихъ терминовъ) съ національнымъ богатствомъ и народнымъ благосостояніемъ. Такъ, напримѣръ, въ статьѣ «Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X» («Совр.» 1858 г., № 8) Чернышевскій указываетъ на причину коренного расхожденія между либералами и демократами: первые стремятся къ національному богатству, вторые — къ народному благосостоянію. Но какъ же быть послѣднимъ въ томъ случаѣ, если они увидятъ, что «элементъ, развитіе котораго необходимо для благосостоянія, гибеленъ для массы людей своимъ развитіемъ»? Тутъ Чернышевскій уже не удовлетворяется своимъ абстрактнымъ рѣшеніемъ вопроса, но категорически отвѣчаетъ, что «для демократа наша Сибирь, въ

которой простонародье пользуется благосостояніемъ, гораздо выше Англіи, въ которой большинство народа терпитъ сильную нужду», выше не по степени, а по типу развитія—прибавитъ къ этому впослѣдствіи отъ себя Михайловскій.

Такъ рѣшаетъ Чернышевскій поставленную передъ нимъ дилемму въ сторону народнаго благосостоянія. Намъ не для чего долго останавливаться на яркой индивидуалистичности такого рѣшенія; надо только отмѣтить, что «народное благосостояніе» есть абстрактный критерій, сводящійся въ конечномъ счетѣ къ благу реальной личности. И Чернышевскій неоднократно подчеркивалъ, что въ основѣ всего его міровоззрѣнія лежитъ *благо реальнаго человѣка*, что человѣческая личность есть наивысшій критерій, къ которому должны быть сведены всѣ выводы построяемыхъ теорій.

«Нѣкоторые — заявляетъ Чернышевскій — предполагаютъ для государства цѣль болѣе высокую, нежели потребности отдѣльныхъ лицъ,—именно осуществленіе отвлеченныхъ идей справедливости, правды и т. п. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ такого принципа очень легко выводить для государства права болѣе обширныя, нежели изъ другой теоріи, которая говоритъ только о пользѣ частныхъ лицъ; но вообще мы держимся послѣдней, и *выше человѣческой личности не принимаемъ на земномъ шарѣ ничего*». («Экономическая дѣятельность и законодательство»; «Совр.» 1859 г., № 2; курсивъ нашъ). Цѣль правительства — польза «индивидуальнаго лица», продолжаетъ далѣе Чернышевскій: «государство существуетъ для блага индивидуальной личности»; «общая норма для оцѣнки всѣхъ фактовъ общественной жизни и частной дѣятельности — «благо человѣка», хотя эта формула „указываетъ только, цѣль, а не даетъ готовыхъ средствъ къ ея достиженію“... Достаточно и этого

немногаго, чтобы поставить Чернышевскаго въ одинъ рядъ съ величайшими представителями индивидуализма въ исторіи русской общественной мысли; въ этомъ отношеніи Чернышевскій шелъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ и Герценомъ и былъ предтечей Лаврова и Михайловскаго. И если мы уже въ Герценѣ видѣли зачатки того „субъективизма“, которому суждено было дать пышный цвѣтъ въ семидесятыхъ годахъ, то Чернышевскій по своимъ воззрѣніямъ стоитъ еще ближе къ этому „субъективному методу“, заявляя, что „человѣкъ долженъ смотрѣть на все человѣческими глазами“... Далекій отъ „объективнаго“ принципъ—pereat mundus, fiat justitia, надъ которымъ такъ зло смѣялся еще Герценъ, Чернышевскій подчеркиваетъ субъективное строеніе понятія правды-справедливости: „справедливо то, что благопріятно правамъ человѣческой личности“.

Передъ нами вырисовывается яркій соціологическій индивидуализмъ Чернышевскаго, характерный вообще для той половины шестидесятыхъ годовъ, въ которой дѣйствовалъ Чернышевскій. Необходимо замѣтить однако, что этотъ соціологическій индивидуализмъ сопровождался у Чернышевскаго крайнимъ соціологическимъ номинализмомъ; въ этомъ отношеніи Чернышевскій сдѣлалъ шагъ назадъ отъ Бѣлинскаго и Герцена, для которыхъ общество было органическимъ соединеніемъ индивидуальныхъ элементовъ. Для Чернышевскаго же общество есть просто ариеметическая сумма личностей.

Въ своей знаменитой статьѣ „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія“ („Совр.“, 1858 г., № 12) Чернышевскій доказываетъ, что въ индивидуальной жизни процессъ явленій можетъ перебѣгать съ низшаго логическаго момента на высшіе, пропуская средніе. Разъ это такъ, то, по мнѣнію Чернышевскаго, „*очевидно*, что мы должны ожи-

дать встрѣтить ту же возможность и въ общественной жизни. Это простой математическій выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, пусть несокращенный благопріятными обстоятельствами ходъ развитія индивидуальной жизни будетъ выражаться прогрессіею: 1 . 2 . 4 . 8 . 16 . 32 . 64... Пусть въ этой прогрессіи каждымъ членомъ обозначается извѣстный моментъ неускореннаго благопріятными обстоятельствами развитія. Пусть общество состоитъ изъ A членовъ. Тогда, *очевидно*, развитіе общества выражается слѣдующею прогрессіею: $1A . 2A . 4A . 8A . 16A . 32A . 64A$... Но мы видѣли, что ходъ индивидуальной жизни можетъ перебѣгать съ первой ступени прямо на третью, или четвертую, или седьмую, и положимъ, что относительно извѣстнаго понятія или факта онъ пошелъ по слѣдующему ускоренному пути: 1 . 4 . 64. Тогда *очевидно*, и ходъ общественной жизни относительно этого явленія будетъ: $1A . 4A . 64A$. Кажется, это *ясно*"... (курсивъ нашъ).

Это ясно и очевидно только для того, кто, подобно Чернышевскому, принимаетъ за аксіому, что „общественная жизнь есть сумма индивидуальныхъ жизней", но едва ли бы съ этимъ согласились многочисленные въ концѣ шестидесятыхъ годовъ проповѣдники органической теоріи общества, которые перегнули палку въ другую сторону своимъ заявленіемъ, что личность „очевидно" есть лишь клѣточка общественнаго организма. Михайловскій впослѣдствіи синтезировалъ въ своемъ міровоззрѣніи эти противоположныя точки зрѣнія и снова пошелъ впередъ по пути, намѣченному Бѣлинскимъ и Герценомъ. Что же касается Чернышевскаго, то нѣсколько ниже мы увидимъ, что его крайній соціологическій номинализмъ былъ только второстепенной ошибкой въ его міровоззрѣніи, но что глубокой и непоправимой ошибкой было исповѣданіе имъ этическаго анти-индивидуализма при яркомъ индивидуализмѣ соціологиче-

скомъ. Это роковое внутреннее противорѣчіе послужило ферментомъ разложенія всѣхъ воззрѣній шестидесятыхъ годовъ. Но объ этомъ рѣчь впереди.

Мы выяснили основной, центральный пунктъ народничества Чернышевскаго; посмотримъ на дальнѣйшія приложенія этого основного принципа къ тѣмъ вопросамъ, которые ставила сама жизнь передъ русской общественной мыслью. Первымъ и главнымъ изъ этихъ вопросовъ былъ перешедшій по наслѣдству еще отъ западниковъ, славянофиловъ и Герцена вопросъ объ общинѣ.

V.

Въ эпоху оффиціальнаго мѣщанства въ вопросѣ объ общинѣ можно было только теоретизировать; въ шестидесятыхъ годахъ вопросъ сразу перешелъ на практическую почву. Правда, еще продолжались споры на исторической почвѣ, и еще въ 1857 году Чичеринъ воевалъ со славянофилами, доказывая, что русская община—не родовая и патріархальная, но сперва владѣльческая, а потомъ и государственная; но уже Герценъ ясно показалъ, что не въ этомъ лежитъ центръ вопроса.

„Читалъ я ваши споры объ общинѣ, — писалъ тогда Герценъ:—они очень любопытны, но меньше, чѣмъ кажется, идутъ къ дѣлу. Родовое ли начало сельской общины или государственное, была ли земля общинная, помѣщичья или великокняжеская, скрѣпило ли крѣпостное право общину или нѣтъ, — все это необходимо привести въ ясность; но для насъ всего важнѣе *настоящее* положеніе дѣлъ“. Положеніе же дѣлъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ было таково, что само существованіе общины висѣло на волоскѣ, такъ какъ эпигоны западничества имѣли за собою большинство въ редакціонныхъ комиссіяхъ, тре-

бовавшихъ упраздненія общины во славу принципа „laissez faire“,—принципа якобы экономическаго индивидуализма; въ этихъ комиссіяхъ одинъ только Самаринъ усиленно ратовалъ за общину. Въ концѣ концовъ, при проведеніи реформы, община въ принципѣ была сохранена; этимъ правительство преслѣдовало, конечно, не идейныя, а исключительно фискальныя цѣли.

Къ этому времени для русской интеллигенціи стало совершенно яснымъ различіе между общиной поземельной и административной; народничество выяснило, что не поземельная община подавляетъ личность, а подавляетъ ее фискальная основа, навязанная общинѣ государствомъ. И Герценъ, и Чернышевскій видѣли это вполнѣ ясно, но первенство въ выраженіи этой мысли принадлежитъ Кавелину, одному изъ немногихъ молодыхъ западниковъ, не завязшему въ шестидесятыхъ годахъ въ мѣщанствѣ либеральнаго доктринерства. Мы уже указывали, что Герценъ выразилъ свое полнѣйшее удовлетвореніе точкой зрѣнія Кавелина на общину; мы увидимъ, что взглядъ Кавелина отчасти повліялъ и на Чернышевскаго; уже по одному этому статья Кавелина, санкціонированная двумя столпами народничества, Герценомъ и Чернышевскимъ, имѣетъ для насъ большой интересъ, тѣмъ большій, что Кавелинъ всегда былъ — мы это уже видѣли — яркимъ индивидуалистомъ, вѣрнымъ ученикомъ великихъ представителей западничества.

Въ этой своей статьѣ („Взглядъ на русскую сельскую общину“, „Атеней“ 1859 г., № 2) Кавелинъ главнымъ образомъ отвѣчаетъ на вопросъ о возможности свободы личности въ сельской общинѣ, и отвѣчаетъ совершенно правильно. Онъ прежде всего строго разграничиваетъ общину поземельную и общину административную. Упрекъ въ томъ, что „община погло-

щаетъ индивидуальность, не даетъ почти никакого простора личности", относится, по мнѣнію Кавелина, къ общинѣ административной, преслѣдующей фискальныя цѣли. Тутъ личность давитъ прежде всего *круговая порука*, не имѣющая никакого отношенія къ общинѣ поземельной; впрочемъ, и въ этой послѣдней такую же тормозящую роль играютъ *передѣлы*, несправедливые по отношенію къ лучше работающимъ хозяевамъ. Сохраняя общину, нужно отказаться отъ круговой поруки въ административномъ отношеніи и отъ передѣловъ—въ поземельномъ. Основными формами общины будутъ тогда, во-первыхъ—пользованіе землянымъ паемъ, а не собственность его, а значитъ отсутствіе наслѣдства и т. п.; во-вторыхъ, необходимымъ условіемъ пользованія будетъ осѣдлость въ данной общинѣ; въ-третьихъ—и это главное—такъ какъ нельзя уничтожить административную общину, а вмѣстѣ съ ней подати и повинности, то необходимо для „свободы лица" въ общинѣ предоставить каждому *свободу отказа отъ своего земельнаго пая и свободу выхода изъ общины*. Это несомнѣнно вѣрный отвѣтъ, сохранившій свою силу даже до нашихъ дней.

Интересно однако вотъ что: всѣ эти мѣры Кавелинъ признаетъ только паліативами, препятствующими распространенію пролетаріата; онъ сознаетъ, что при общинномъ бытѣ и при увеличеніи народонаселенія не хватитъ земельныхъ паевъ, если участки будутъ оставаться безъ передѣла; онъ сознаетъ, что тогда нужны будутъ „сильныя, радикальныя лекарства". (Хотя онъ и доказываетъ дальше, что „опаснаго для общественной экономіи перевѣса людей бездомныхъ никогда быть не можетъ", но мы знаемъ, что эти доказательства идутъ противъ исторіи) Это интересно потому, что въ такомъ признаніи видимъ уже дальнѣйшій шагъ отъ Герцена къ семидесятымъ

годамъ, отъ народничества догматическаго и оптимистическаго къ народничеству пессимистическому и критическому: Кавелинъ уже предчувствуетъ, что община можетъ оказаться палліативной, временной мѣрой, и что не ей избавить Россію отъ „мѣщанства“ западной Европы. Вотъ почему онъ идетъ на компромиссъ. „Я противъ индивидуальной личной собственности, какъ исключительной формы землевладѣнія, — пишетъ онъ Герцену (1862 г.): — я не противъ ея принципа, но рядомъ съ нею желаю общиннаго землевладѣнія, какъ ея корректива, какъ противовѣса противъ конкурренціи, которую оно производитъ“...

Въ критическомъ народничествѣ мы увидимъ дальнѣйшую эволюцію писсимистическаго отношенія къ будущности общины. Теперь же кстати отмѣтимъ еще одинъ характерный фактъ: статья Кавелина вызвала почти восторженный отзывъ его недавняго горячаго противника и идейнаго врага, Ю. Самарина, который еще раньше (въ 1857 г.) высказалъ чуть ли не буквально тѣ же самые взгляды на общину въ своей второй запискѣ по крестьянскому дѣлу („Что выгоднѣе: общинное мірское владѣніе землею или личное?“; напечатана впервые въ 1877 г.). Самаринъ склонялся къ уничтоженію общины административной и сохраненію общины поземельной—опять-таки для противодѣйствія возникновенію пролетаріата, ибо „мірское владѣніе и раздѣлъ по тягламъ, возможный только при этой формѣ владѣнія, устанавливаетъ и обезпечиваетъ пропорціональность рабочихъ силъ и потребностей съ количествомъ земли“ *).

Взгляды Чернышевскаго на общину сложились

---

*) См. „Собр. сочин.“ Кавелина, т. II, стр. 162 — 186; „Собр. сочин.“ Самарина, т. II, стр. 165—170. См. также „Русскую Мысль“ 1892 г., № 10—письмо Самарина къ Кавелину (отъ 1859 г.).

въ началѣ шестидесятыхъ годовъ подъ несомнѣннымъ вліяніемъ славянофильства, какъ это было и съ Герценомъ, но вліяніе это необходимо не переоцѣнивать. Въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ, въ 1855 и 1856 г., при возникновеніи общей соціалистической концепціи въ міровоззрѣніи Чернышевскаго, онъ сталъ на сторону общины, какъ возможнаго центра кристаллизаціи для будущаго соціалистическаго строя. Но въ то же время онъ полагалъ, не различая общины административной и поземельной, что послѣдняя дѣйствительно стѣсняетъ личность. Но этимъ небольшимъ стѣсненіемъ стоило пренебречь ради возможнаго громаднаго значенія общины; и въ этомъ отношеніи Чернышевскій сталъ на сторону славянофильства. „Мы не подозрѣваемъ себя въ пристрастіи славянофильскому образу мыслей,—говоритъ Чернышевскій,—но должны сказать, что ученіе объ отношеніи личности къ обществу — здоровая часть ихъ системы и вообще достойно всякаго уваженія по своей справедливости"... („Очерки гоголевскаго періода русской литературы"; „Совр." 1856 г., № 2). Однако, очень скоро Чернышевскій пришелъ къ выводу, что принципъ общиннаго владѣнія и принципъ личности отнюдь не противорѣчатъ другъ другу; въ 1859 году онъ уже твердо стоитъ на этой точкѣ зрѣнія, одновременно и отстаивая общину, и заявляя, что выше человѣческой личности нѣтъ на земномъ шарѣ ничего.

VI.

Переходя къ частностямъ взгляда Чернышевскаго на общину, интересно отмѣтить прежде всего, что вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ Чернышевскій требовалъ и *національзаціи земли*: „все, чѣмъ владѣютъ или что воздѣлываютъ для себя поселяне по

общинному праву, должно быть государственною собственностью въ общинномъ владѣніи“... Принудительное отчужденіе всѣхъ частновладѣльческихъ земель Чернышевскій въ то время считалъ неосуществимымъ и ненужнымъ; напротивъ того, онъ въ эту эпоху (1856—1858 гг.) твердо стоялъ, какъ это мы сейчасъ увидимъ, за частную земельную собственность, и только въ 1860—1861 г., сойдя съ оппозиціоннаго пути на путь революціонно-соціалистическій, пришелъ въ то же время къ мысли о необходимости уничтоженія всякой частной земельной собственности. Пока же онъ не заходилъ такъ далеко и направлялъ всѣ свои усилія на отстаиваніе поземельной общины, требовалъ признанія крестьянской земли государственной собственностью въ общинномъ владѣніи: „мы защищаемъ фактъ у насъ существующій—государственную собственность съ общиннымъ владѣніемъ именно потому, что она всего ближе всѣхъ другихъ формъ собственности подходитъ къ идеалу поземельной собственности... Каждый земледѣлецъ долженъ быть землевладѣльцемъ“. („О поземельной собственности“; „Совр.“ 1857 г., № 11).

Это требованіе осталось характернымъ для всего народничества; его неоднократно высказывалъ Михайловскій (см., напр., «Собр. сочин.», т. I-й, стр. 704—5; т. VI, стр. 301), его же выставило и молодое народничество конца XIX вѣка въ нѣсколько расширенномъ видѣ, заявляя, что не только каждый земледѣлецъ долженъ быть землевладѣльцемъ, но и каждый землевладѣлецъ долженъ быть земледѣльцемъ.

Но интересно отмѣтить также, что одновременно съ защитой общины и съ требованіемъ своеобразной національзаціи земли Чернышевскій въ эту эпоху начала выработки своихъ воззрѣній энергично возставалъ противъ *государственнаго закрѣпленія об-*

щины, котораго впослѣдствіи требовалъ самъ, а за нимъ требовали и критическіе народники семидесятыхъ годовъ, во главѣ съ Михайловскимъ. Государственное закрѣпленіе общины Чернышевскій сперва считалъ вредной мѣрой, препятствующей образованію личной крестьянской собственности и тѣмъ самымъ приковывающей къ малоземельной общинѣ лишнихъ крестьянъ; но, «кажется, подобныхъ насильственныхъ мѣръ у насъ опасаться и нечего»,—замѣчаетъ Чернышевскій («Библіографія журнальныхъ статей»; „Совр." 1858 г., № 10). Отсюда ясно, что Чернышевскій не могъ быть противникомъ частной земельной собственности въ шестидесятыхъ годахъ въ Россіи; подобно Кавелину, онъ видѣлъ въ земельной собственности *коррективъ общинному владѣнію* и обратно, т.-е. вмѣстѣ съ Кавелинымъ повторялъ, какъ мы теперь знаемъ, основное положеніе программы „аграрнаго соціализма" Пестеля (см. ч. I).

„Современемъ, близко ли, далеко ли—не знаемъ, расторговавшійся крестьянинъ непремѣнно постарается купить въ полную и потомственную собственность порядочный участокъ земли". замѣчаетъ Чернышевскій и радуется этому „распространенію между крестьянами частной поземельной собственности (Ibid.). Поэтому Чернышевскій является сторонникомъ мелкаго частнаго кредита и введенія „ипотекарной системы", ибо даже значительная ссуда „по мірскому приговору можетъ быть обезпечена ипотекой на какой-нибудь отдѣльный участокъ земли" (Id.; „Совр." 1859 г., №№ 2 и 7). И вдругъ непосредственно вслѣдъ за этими словами—заключеніе: „вообще, мы полагаемъ, что зло, къ которому пришли западные народы, вслѣдствіе чрезмѣрнаго развитія личной собственности и неизбѣжно слѣдующаго за нею пролетаріата, такъ велико, что для избѣжанія его,—если бы мы и не имѣли столькихъ причинъ, какъ имѣ-

емъ теперь, вѣрить въ будущность нашей сельской общины, —все же слѣдовало бы сдѣлать попытку, и не прежде отчаяться въ успѣхѣ, какъ тогда, когда несостоятельность этого порядка была бы доказана несомнѣннымъ опытомъ“...

Здѣсь вскрывается ошибка и Пестеля, и Чернышевскаго, и Кавелина; частновладѣльческій и общинный принципы не могутъ служить коррективами другъ другу, ибо они взаимно исключаютъ другъ друга; всякая же попытка ихъ соединенія окажется обреченнымъ на неудачу палліативомъ. Критическое народничество семидесятыхъ годовъ встрѣтилось лицомъ къ лицу со столь любезнымъ для Чернышевскаго „расторговавшимся крестьяниномъ“, который старался скупать въ полную и потомственную собственность „порядочные участки земли“; но, встрѣтившись съ подобными Колупаевыми и Разуваевыми, типичными представителями нарождающейся буржуазіи, семидесятники увидѣли, что появленіе одного такого расторговавшагося крестьянина является, съ одной стороны, слѣдствіемъ, а съ другой—причиною появленія десятка батраковъ, представителей сельскаго пролетаріата. А, вѣдь, самъ Чернышевскій когда то заявлялъ, что-де „благодѣтеленъ принципъ общиннаго владѣнія, который ограждаетъ насъ отъ страшной язвы пролетаріатства въ сельскомъ населеніи!..“.

Неудивительно, что, понявъ самопротиворѣчіе Чернышевскаго и убѣдившись въ появленіи на русской исторической сценѣ „расторговавшагося крестьянина“, критическое народничество семидесятыхъ годовъ въ лицѣ Михайловскаго воззвало къ тому самому государственному закрѣпленію общины, которое Чернышевскій признавалъ вредной мѣрой. Впрочемъ, и самъ Чернышевскій вскорѣ перемѣнилъ свое мнѣніе; по крайней мѣрѣ въ 1861 году онъ заканчиваетъ свой

комментированный переводъ „Основаній политической экономіи“ Д. С. Милля именно требованіемъ государственнаго закрѣпленія общины.

„Много статей было написано нами—заявляетъ Чернышевскій—въ защиту общиннаго землевладѣнія и нѣтъ намъ надобности вновь перечислять здѣсь его преимущества. Мы хотимъ только сказать, что если это учрежденіе на самомъ дѣлѣ полезно, то для его сохраненія нужна правительственная забота, потому что безъ законодательнаго охраненія оно не можетъ удержаться противъ частныхъ интересовъ. ...Милль доказываетъ, что есть общеполезные учрежденія и обычаи, не могущіе сохраниться безъ прямого законодательнаго огражденія. Совершенно въ томъ же духѣ... мы скажемъ про общинное землевладѣніе: для цѣлаго общества оно полезно; но каждому изъ членовъ общества можетъ представляться временная выгода отъ превращенія своего пользованія частью общественной земли въ полную собственность надъ этою частью ея. Эта мимолетная выгода, несомнѣнно приведетъ въ худшее положеніе почти каждаго изъ людей, которые соблазнились бы ею; но она можетъ имѣть столько соблазнительности, что приведетъ къ разрушенію выгоднѣйшаго для всѣхъ порядка, если достаточенъ будетъ минутный интересъ отдѣльнаго члена общины, чтобы участокъ, находящійся въ его пользованіи, былъ выдѣленъ ему въ полную собственность“ (Собр. соч. Чернышевскаго, т. X, ч. II, прил. I, стр. 15—16; въ соотвѣтственномъ мѣстѣ „Современника“ 1861 г. этихъ словъ нѣтъ).

Чернышевскій, повидимому, теперь понялъ, что частное землевладѣніе не можетъ служить коррективомъ общинному, и вполнѣ послѣдовательно съ общимъ духомъ своего міровоззрѣнія пришелъ къ требованію государственнаго закрѣпленія общины. Вполнѣ

послѣдовательно также народничество конца XIX и начала XX вѣка выставило требованіе соціализаціи всей земли, при окончательномъ уничтоженіи всякой частной земельной собственности: въ этомъ случаѣ русскій соціализмъ вѣрно слѣдовалъ не буквѣ, а духу ученія Чернышевскаго, обращавшагося въ свое время къ русской интеллигенціи съ энергичнымъ призывомъ: „умрите за сохраненіе равнаго права каждаго крестьянина на землю, умрите за общинное начало!".

VII.

Мы видѣли выше, съ какой точки зрѣнія отстаивалъ Чернышевскій поземельную общину; онъ считалъ *возможнымъ*, что раньше пролетаризаціи русскаго крестьянства западная Европа дойдетъ до соціалистической стадіи развитія, и тогда русская община послужитъ центромъ кристаллизаціи соціалистическаго строя въ Россіи. Если мы вспомнимъ, что около того же времени и Марксъ, и Энгельсъ предсказывали торжество соціализма въ Европѣ еще до наступленія XX вѣка, то точка зрѣнія Чернышевскаго намъ покажется вполнѣ оправдываемой своей эпохой. Что же касается возможности для Россіи скачка черезъ капиталистическій періодъ развитія прямо въ царство соціализма, то, во-первыхъ, Чернышевскій, какъ мы видѣли, не былъ противъ капиталистическаго развитія, указывая на возможность его совпаденія съ народнымъ благосостояніемъ; при неосуществимости этого онъ доказывалъ, во-вторыхъ, логическую и фактическую возможность скачка черезъ средніе фазисы развитія.

Этому доказательству посвящена, какъ мы уже видѣли, извѣстная статья Чернышевскаго „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія" („Совр." 1858 г., № 12). Воспользовавшись, какъ схемой, гегелевской тріадой и примѣняя ее къ

процессу экономическаго развитія, Чернышевскій принялъ тезисомъ—патріархальное общинное владѣніе; антитезисомъ — владѣніе личное и синтезисомъ — соціалистическое общинное владѣніе; затѣмъ всю силу своихъ доказательствъ онъ направилъ на то, чтобы вывести возможность непосредственнаго перехода отъ тезиса къ синтезису, отъ 1 A прямо къ 64 A, по приведенной нами выше символической терминологіи. Минованіе капиталистическаго фазиса представлялось поэтому возможнымъ, вполнѣ согласно и со славянофилами, и съ Герценомъ; но тутъ же слѣдуетъ особенно рельефно выставить на видъ коренную разницу такой точки зрѣнія Чернышевскаго и взгляда Герцена на особый путь развитія Россіи.

Согласно Чернышевскому, возможность миновать капиталистическій фазисъ развитія являлась для Россіи только счастливымъ случаемъ совпаденія сходныхъ по типу, но глубоко различныхъ по степени экономико-соціальныхъ формъ. Строго говоря, никакого *особаго типа развитія* Россіи въ этомъ нѣтъ: она шла тѣмъ же общимъ путемъ, причемъ, однако настолько отстала отъ Европы, что послѣдняя пришла къ одной съ ней точкѣ, уже совершивъ цѣлый кругъ развитія, подобно тому, какъ если двѣ лошади будутъ бѣжать по кругу, то раньше или позже быстрѣйшая догонитъ отставшую. Община — не особенность русскаго народа, а только застарѣлый пережитокъ, давнымъ-давно уступившій у европейскихъ народовъ свое мѣсто частной собственности: „нечего намъ считать общинное владѣніе особенною прирожденною чертою нашей національности, а надобно смотрѣть на него, какъ на обще-человѣческую принадлежность извѣстнаго періода въ жизни каждаго народа... Сохраненіе общины въ поземельномъ отношеніи, исчезнувшей въ этомъ смыслѣ у другихъ народовъ, доказываетъ только, что мы ушли

гораздо меньше, чѣмъ эти народы"... (Ibid). Конечно, если Россія минуетъ капиталистическій фазисъ развитія, то это будетъ особенностью ея исторіи, вслѣдствіе совпаденія по времени отсталыхъ и развитыхъ соціально-экономическихъ формъ; это можно считать „особымъ путемъ" ея развитія, но совершенно въ другомъ смыслѣ, чѣмъ это понималъ Герценъ, не говоря уже о славянофилахъ.

Отсюда—рѣзкая полемика Чернышевскаго съ Герценомъ по вопросу о „мѣщанствѣ" Европы и объ анти-мѣщанскомъ пути развитія Россіи. Первымъ поводомъ послужила книжка Лаврова „Личность" (1860 г.), посвященная Герцену и Прудону; Чернышевскій написалъ по поводу этой книжки свою надѣлавшую много шума статью „Антропологическій принципъ въ философіи" („Совр." 1860 г., №№ 4 и 5), въ первой части которой полемизируетъ и съ Прудономъ и съ Герценомъ. Но такъ какъ по цензурнымъ условіямъ нельзя было говорить ни о первомъ, ни особенно о второмъ, то, говоря о Прудонѣ, Чернышевскій называетъ его „авторомъ книги de la Justice", а полемизируя съ Герценомъ—нападаетъ на Милля.

Какъ мы помнимъ, Герценъ въ 1859 г. написалъ статью по поводу книги Милля „О свободѣ" („Колоколъ", 15 апр. 1859 г.), подкрѣпляя новыми аргументами Милля свою основную точку зрѣнія, высказанную впервые еще за десять лѣтъ до того, о мѣщанствѣ западной Европы, объ ея нравственномъ китаизмѣ, о торжествѣ „conglomerated mediocrity". Нападая якобы на Милля, Чернышевскій обращаетъ все свое оружіе противъ Герцена; указавъ на мнѣніе о конечной побѣдѣ китаизма и мѣщанства въ Европѣ, Чернышевскій явно указываетъ на Герцена: „такъ говорятъ нѣкоторые даже изъ самыхъ лучшихъ нашихъ людей и указываютъ на грустный приговоръ Милля, какъ на подтвержденіе очень сильное". И на

дальнѣйшихъ страницахъ Чернышевскій объясняетъ мнѣніе Милля (а значитъ и Герцена) своеобразной классовой идеологіей: мнѣніе это выражается той лучшей частью буржуазіи и аристократіи, которая предчувствуетъ неизбѣжность грядущаго соціалистическаго переворота и неизбѣжность потери всѣхъ своихъ привиллегій... (см. op. cit., а также первыя строки изложенія четвертой книги „Полит. Экон.“ Милля въ „Совр.“ 1861 г., № 8).

Еще рѣзче напалъ Чернышевскій на Герцена въ статьѣ „О причинахъ паденія Рима“ („Совр.“ 1861 г., № 5). „Западная Европа отжила свой вѣкъ, истощила свои жизненные элементы; западные народы не способны продолжать дѣло прогресса; міръ долженъ возобновиться паденіемъ этихъ народовъ и замѣною ихъ новыми, свѣжими племенами“,—такъ формулируетъ Чернышевскій мнѣніе „лучшихъ нашихъ людей“; разоблаченіе этого ошибочнаго взгляда представляется ему довольно важнымъ „для очищенія самохвальныхъ и, къ счастью, пустыхъ мыслей о нѣкоторыхъ живыхъ отношеніяхъ. Мы говоримъ не о славянофилахъ“... И въ дальнѣйшемъ онъ доказываетъ, во-первыхъ, что Европа не только не истощила свои жизненныя силы, но, напротивъ, только-что начинаетъ жить, ибо въ Европѣ „только еще авангардъ народа, среднее сословіе уже дѣйствуетъ на исторической аренѣ, да и то почти лишь только начинаетъ дѣйствовать; а главная масса еще и не принималась за дѣло, ея густыя колонны еще только приближаются къ полю исторической дѣятельности“. Она собственными силами идетъ къ тому соціалистическому строю, въ которомъ будетъ, между прочимъ, осуществлено и общинное владѣніе въ его новыхъ и развитыхъ формахъ. А если это такъ, то, доказываетъ Чернышевскій во-вторыхъ, считать русскую общину панацеей отъ всѣхъ западно-евро-

пейскихъ соціальныхъ золъ и элементомъ спасенія Европы отъ мѣщанства—смѣшно и нелѣпо. „Европѣ тутъ позаимствоваться нечѣмъ и не для чего: у Европы свой умъ въ головѣ, и умъ гораздо болѣе развитый, чѣмъ у насъ, и учиться ей у насъ нечему, и помощи нашей не нужно ей“... „Мы далеко не восхищаемся нынѣшнимъ состояніемъ западной Европы; но все-таки полагаемъ, что нечѣмъ ей позаимствоваться отъ насъ. Если сохранился у насъ отъ патріархальныхъ (дикихъ) временъ одинъ принципъ, нѣсколько соотвѣтствующій одному изъ условій быта, къ которому стремятся передовые народы, то, вѣдь, западная Европа идетъ къ осуществленію этого принципа совершенно независимо отъ насъ“ *).

VIII.

Этой своей, быть можетъ, нѣсколько рѣзкой критикой Чернышевскій вытравилъ изъ русскаго соціализма послѣднія черты, придававшія ему отчасти утопическую окраску. Герценъ многое обосновывалъ на миѳической анти-буржуазности крестьянскаго тулупа; Чернышевскій же ясно понималъ, что „расторговавшійся крестьянинъ“ — одинаково буржуа, будь онъ русскій, французскій, или англійскій: „русскій заяцъ точно такой же заяцъ, какъ и заяцъ-англичанинъ, и вовсе нѣтъ того, чтобы нашъ заяцъ леталъ, а англійскій пѣлъ—оба они зайцы и все у нихъ заячье, какъ двѣ капли воды“,—пронизировалъ впослѣдствіи Гл. Успенскій. Критическое народничество семидесятыхъ годовъ уже вполнѣ проникло съ сознаніемъ, что анти-мѣщанство не есть свойство

*) Въ то время еще не было установлено очень позднее (въ XIV—XVII вв.) и чисто фискальное происхожденіе русской общины; поэтому и Чернышевскій считаетъ нашъ общинный деревенскій строй остаткомъ первобытнаго коммунизма.

русскаго народа, отличающее его отъ большинства народовъ западно-европейскихъ; мы видѣли, что уже самъ Герценъ мало-по-малу смотрѣлъ все пессимистичнѣе и пессимистичнѣе на эту свою теорію; Чернышевскій же первый громогласно заявилъ о ея полной несостоятельности.

То же самое можно повторить и о противоположномъ убѣжденіи Герцена—въ мѣщанствѣ западной Европы: Чернышевскій первый вскрылъ всю ошибочность такого утвержденія своимъ указаніемъ на то, что на исторической европейской сценѣ еще не дѣйствуютъ главныя народныя силы, и что, подъ вліяніемъ послѣднихъ, Европа раньше или позже неизбѣжно придетъ къ тому самому строю, который явится высокой степенью развитія желательнаго для Герцена типа. Послѣ Чернышевскаго такое положеніе стало общимъ мѣстомъ русскаго соціализма. Отношеніе къ современному фазису экономическаго развитія Европы продолжало оставаться критическимъ,—и это особенно ясно было высказано Михайловскимъ, но „особый путь развитія“ Россіи понимался почти исключительно въ смыслѣ, приданномъ этой формѣ Чернышевскимъ, т.-е. не въ смыслѣ особаго типа развитія, а въ смыслѣ возможности минованія различныхъ стадій европейскаго пути; это не особый *типъ* развитія, но, въ точномъ смыслѣ,—особый *путь* развитія, приводящій однако къ одной и той же общей цѣли. Въ сущности такое пониманіе этой фразы можно найти и у Герцена, особенно въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ шестидесятыхъ годовъ; насколько повліяла на Герцена критика Чернышевскаго—пока еще трудно сказать, но вліяніе это въ высшей степени вѣроятно; по крайней мѣрѣ, оно сильно сказывается на аргументаціи Герцена въ 8-мъ письмѣ изъ его „Концовъ и Началъ“ („Колоколъ“, 15 февр. 1863 г.). Впослѣд-

ствіи Михайловскій пытался поддержать точку зрѣнія Герцена на мѣщанскій путь развитія Европы и антимѣщанскій — Россіи, своей теоріей двухъ типовъ соціальнаго развитія—органическаго, и надъ-органическаго; однако и онъ вскорѣ вернулся къ Чернышевскому и къ его пониманію особаго пути развитія Россіи.

Нетрудно вскрыть причины различія точекъ зрѣнія Герцена и Чернышевскаго. Какъ мы знаемъ, на міровоззрѣніе Герцена глубоко повліяли событія 1848 года; онъ счелъ пиррову побѣду буржуазіи ея рѣшительной побѣдой; 1852 годъ еще болѣе усилилъ пессимистическое настроеніе Герцена, міровоззрѣніе котораго перестраивалось подъ всѣми этими непосредственными впечатлѣніями. Десять лѣтъ спустя, когда дѣйствовалъ Чернышевскій, если не положеніе дѣлъ, то настроеніе общества было совершенно иное: на Западѣ послѣ смерти соціализма утопическаго родился соціализмъ реальный; въ Россіи шла борьба за великую соціальную реформу и почти вся интеллигенція была проникнута (не безъ вліянія того же Герцена) ясно выраженнымъ соціалистическимъ настроеніемъ. Поэтому пессимизмъ Герцена уступилъ мѣсто яркому оптимизму Чернышевскаго, твердо вѣрившаго, въ противоположность Герцену, въ великія грядущія силы западно-европейскихъ народовъ; наоборотъ, это же послужило причиною внесенія Чернышевскимъ критическаго элемента въ догматико-оптимистическое народничество Герцена. Вотъ почему народничество Чернышевскаго представляетъ изъ себя большой шагъ впередъ въ эволюціи русскаго соціализма, будучи окончательнымъ переходомъ къ соціализму реальному. Однако, тутъ же надо замѣтить, что въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ Чернышевскій сдѣлалъ шагъ назадъ отъ Герцена; мы убѣдимся въ этомъ, когда коснемся вопроса о фило-

софскомъ обоснованіи народничества у Герцена и Чернышевскаго. Но объ этомъ нѣсколько ниже, а теперь закончимъ наше знакомство съ основаніями русскаго соціализма шестидесятыхъ годовъ.

IX.

На предыдущихъ страницахъ мы имѣли случай отмѣтить, что въ шестидесятыхъ годахъ народничество вело ожесточенную борьбу съ либеральнымъ доктринерствомъ эпигоновъ западничества; мы отмѣтили также, что эти русскіе манчестерцы, представители экономическаго либерализма, были, сознательно или безсознательно, идеологами русской буржуазіи, въ то время едва только зарождавшейся. Герценъ, какъ мы это видѣли, боролся съ „либерализмомъ" съ точки зрѣнія наличности въ немъ элементовъ мѣщанства; Чернышевскій выдвинулъ впередъ другіе аргументы, впослѣдствіи исчерпывающимъ образомъ развитые Михайловскимъ, основываясь на центральномъ пунктѣ своего міровоззрѣнія—благосостояніи народа и благѣ реальной личности.

Laissez faire, laissez aller!—таковъ былъ обычный припѣвъ экономическаго либерализма, убѣжденнаго, что онъ стоитъ за свободу личности, что его принципы—вполнѣ индивидуалистическіе. И Чернышевскій сперва самъ попался на эту удочку, убѣжденный, что экономическій либерализмъ есть дѣйствительно экономическій индивидуализмъ; говоря о школѣ физіократовъ и меркантилистовъ, объ ихъ различіи и сходствѣ, онъ замѣчаетъ: „обѣ школы имѣли одну общую тенденцію—индивидуализмъ; и общимъ девизомъ ихъ стала формула: laissez faier, laissez passer"...

Съ такимъ якобы индувидуализмомъ Чернышевскій, конечно, не могъ согласиться, такъ какъ по-

нималъ, что можетъ происходить «при владычествѣ (такого) индувидуализма въ обществѣ, гдѣ каждый имѣетъ въ виду только самого себя»... Мы уже не разъ подчеркивали, что эгоизмъ есть характерный этическій анти-индивидуализмъ; и Чернышевскій ясно понималъ, что этотъ экономическій либерализмъ и quasi-индивидуализмъ совершено противоположенъ истинной свободѣ личности: «развѣ это не безпорядокъ, не несправедливость, не насиліе, когда съ одной стороны сильный, съ другой—слабый, свобода сильнаго развѣ не угнетеніе слабаго?» («Тюрго»; «Совр.» 1858 г., № 9).

Въ уже цитированной нами статьѣ «Экономическая дѣятельность и занодательсгво» Чернышевскій высказалъ, наконецъ, что фритредерство отнюдь не есть, какъ то утверждали эпигоны западничества, система экономическаго индувидуализма и либерализма, но совершенно напротивъ: «они утверждаютъ, что кто желаетъ прямого участія законодательства въ опредѣленіи экономическихъ отношеній, тотъ отдаетъ личность въ жертву деспотизма общества. Мы постараемся показать, что ихъ собственная теорія именно и ведетъ къ этому;... эта теорія повертывается рѣшительно въ невыгоду для личности»... Изложивъ далѣе теорію Laissez faire, aissez laller, Чернышевскій приводитъ ее къ абсурду послѣдовательнымъ развитіемъ ея же основныхъ началъ; онъ доказываетъ, что система эта «въ теоріи ведетъ къ поглощенію личности государствомъ, а на практикѣ служитъ оправданіемъ для реакціоннаго терроризма»...

«... Мы недовольны теоріею невмѣшательства власти въ экономическія отношенія вовсе не потому, чтобы были противниками личной самостоятельности. Напротивъ, именно потому и не нравится намъ эта теорія, что приводитъ къ результатамъ, совершенно противнымъ своему ожиданію. Желая ограничить дѣ-

ятельность государства одною заботою о безопасности, она между тѣмъ передаетъ на полный произволъ его всю частную жизнь, даетъ ему полное право совершенно подавлять личность»... («Совр.» 1859 г., № 2).

Во всемъ этомъ совершенно ясно сказывается та мысль, что экономическій либерализмъ есть по своему существу типичный анти-индивидуализмъ,—мысль, которую впослѣдствіи высказалъ Михайловскій, поставивъ точки надъ і. Именно Чернышевскій, а отнюдь не эпигоны западничества и либеральные доктринеры, стоитъ на точкѣ зрѣнія истиннаго индивидуализма, развивая далѣе въ общихъ чертахъ свои соціалистическіе идеалы, принимая, что «государство существуетъ для блага индувидуальной личности», и что выше этой человѣческой личности нѣтъ на земномъ шарѣ ничего. Индивидуализмъ, какъ основной принципъ, и соціализмъ, какъ конечный идеалъ, являются такимъ образомъ тѣсно связанными между собою въ системѣ русскаго народничества; это мы видѣли у Герцена, видимъ у Чернышевскаго, и тоже увидимъ и у Лаврова, и у Михайловскаго. Мы уже замѣчали (ч. I, Введеніе), что обычное противоположеніе индивидуализма и соціализма совершенно не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія нашей терминологіи; въ народничествѣ, этомъ русскомъ соціализмѣ, индивидуализмъ—основная и характерная черта.

Что же касается основныхъ чертъ народничества Чернышевскаго, то онѣ всѣ теперь передъ нами налицо. Фундаментомъ его міровоззрѣнія является *общая норма—благо личности, и принципъ примата народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ*. Слѣдствіемъ этого является, во-первыхъ, борьба съ либеральнымъ доктринерствомъ, съ россійскимъ фритредерствомъ, обращающимъ главное вниманіе на увеличеніе производства страны и тѣмъ са-

мымъ подавляющимъ человѣческую личность. Отсюда вытекаетъ далѣе приматъ распредѣленія надъ производствомъ, т. е., въ сущности приматъ соціальнаго надъ экономическимъ, характерный для Чернышевскаго; третьимъ слѣдствіемъ является борьба за общинное начало, какъ соблюдающее интересы реальной личности и отвѣчающее примату народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ. Это сопровождается вѣрой въ возможность для Россіи, миновать капиталистическій фазисъ развитія, вѣрой въ ея особый путь, въ буквальномъ значеніи этого слова. Если мы прибавимъ къ этому несомнѣнные задатки «субъективизма», подчеркнемъ соціологическій индивидуализмъ, сопровождающійся крайнимъ соціологическимъ номинализмомъ, то передъ нами будетъ ясно очерченное народничество Чернышевскаго, являющееся продолженіемъ народничества Герцена и введеніемъ къ народничеству Михайловскаго.

Мы уже указали, однако, что въ нѣкоторыхъ пунктахъ Чернышевскій пошелъ не впередъ, а назадъ отъ Герцена; напримѣръ, такимъ шагомъ назадъ былъ его крайній номинализмъ, такимъ шагомъ назадъ была вообще вся философская система, положенная Чернышевскимъ въ основу своего міровоззрѣнія. Интересно отмѣтить, что «проклятые вопросы», мучившіе Чаадаева и Герцена, а впослѣдствіи и семидесятниковъ, оставляли Чернышевскаго совершенно равнодушнымъ; они были не ко двору въ эпоху шестидесятыхъ годовъ. Одинъ только Лавровъ пробовалъ идти противъ общаго теченія, но зато и не пользовался ни малѣйшимъ вліяніемъ въ шестидесятыхъ годахъ. Телеологиченъ ли историческій процессъ? Является ли онъ eo ipso прогрессомъ?—всѣ подобные вопросы мало интересовали дѣятелей той эпохи; рѣшеніе ихъ они считали настолько простымъ, что не стоило тратить времени даже на постановку

такихъ вопросовъ. Нельзя сказать, чтобы Чернышевскій относился отрицательно къ необходимости философской обосновки каждаго міровоззрѣнія; въ началѣ шестидесятыхъ годовъ онъ былъ еще подъ вліяніемъ лѣваго гегельянства и сѣтовалъ на то, что «философскія стремленія теперь почти забыты нашею литературую и критикою», отъ чего и литература и критика «не выиграли ровно ничего, потерявъ очень много»... («Очерки гогол. пер.»; «Совр.» 1856 г., № 9). Но въ дальнѣйшемъ онъ прошелъ отъ Гегеля черезъ Фейербаха къ Бюхнеру, къ отрицанію всей философіи, какъ «метафизики», и къ признанію данныхъ естествознанія за

...смыслъ глубочайшій науки
И смыслъ философіи всей.

Во второй части своего «Антропологическаго принципа въ философіи» онъ проводилъ теорію матеріалистическаго монизма, считая ощущеніе и мысль процессомъ человѣческаго организма, разложимымъ на физіологическіе, а затѣмъ и механическіе элементы. Неудивительно послѣ этого, что естественныя науки стали для него, а въ особенности впослѣдствіи для Писарева, послѣдней инстанціей для апелляціи; приговоры же естествознанія были уже безапелляціонны. Мы еще увидимъ, въ какой тупикъ завела такая точка зрѣнія „писаревщину" конца шестидесятыхъ годовъ.

X.

Эпоха шестидесятыхъ годовъ была типично реалистической эпохой, въ принимаемомъ нами смыслѣ этого слова, быть можетъ, наиболѣе реалистической во всей исторіи русской общественной мысли XIX вѣка; въ этомъ отношеніи она была непосредственнымъ продолженіемъ реалистическаго и раціо-

налистическаго теченія сороковыхъ годовъ, ярко сказавшагося въ дѣятельности Бѣлинскаго. Семидесятые годы также были реалистическими, но что касается раціонализма, то пальма первенства принадлежитъ, несомнѣнно, эпохѣ шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь шестидесятые годы протягиваютъ руку черезъ Бѣлинскаго къ двадцатымъ годамъ, къ идеологіи декабристовъ; мы имѣли случай отмѣтить типичный раціонализмъ Пестеля. Въ шестидесятыхъ годахъ раціонализмъ этотъ ни въ чемъ не выразился такъ сильно, какъ къ области этики, въ которой царило ученіе утилитаризма.

Въ одной изъ слѣдующихъ главъ намъ придется еще подробно говорить объ утилитаризмѣ, поэтому здѣсь мы ограничимся только указаніемъ въ самыхъ общихъ чертахъ на то, что *утилитаризмъ является типичнымъ этическимъ анти-индивидуализмомъ*, безразлично, будетъ ли это утилитаризмъ индивидуальный или соціальный. Индивидуальный утилитаризмъ принимаетъ за принципъ дѣятельности пользу лица, утилитаризмъ соціальный—пользу большинства; но и то, и другое одинаково анти-индивидуалистичность точки зрѣнія основной нормы этики—самоцѣльности человѣка. Принципъ пользы большинства и норма самоцѣльности человѣка слишкомъ, очевидно, противоположны другъ другу, такъ что анти-индивидуалистичность перваго принципа не требуетъ доказательствъ; что же касается принципа пользы лица, утилитаризма индивидуальнаго, то его анти-индивидуальность вскроется легко, если мы укажемъ, что утилитаризмъ имѣетъ здѣсь въ виду исключительно эгоистическую пользу: эгоизмъ есть отправная точка утилитаризма; а намъ уже неоднократно приходилось указывать, какъ мы это отмѣтили немного выше, что эгоизмъ есть этическій анти-индивидуализмъ. Впослѣдствіи мы увидимъ, что принципъ полезности, на которомъ осно-

вывается вся утилитаристическая мораль, лежитъ совершенно внѣ предѣловъ этики, какъ это ясно показала русская идеалистическая интеллигенція конца XIX-го вѣка; въ основѣ этики должна лежать идея не блага, а долга, не мое «я», а человѣческая личность. Высшей степенью ошибки было бы *отождествленіе соціологическаго принципа блага реальной личности съ этической нормой*; въ этомъ отождествленіи—вся ошибка шестидесятниковъ.

Шестидесятники въ сущности совершенно отрицали этику; они были фетишистами категоріи полезности. «Нравственность», «добро»—все это ненужныя слова, истинный смыслъ которыхъ раскрывается въ понятіи пользы. «Если есть какая-нибудь разница между добромъ и пользою, она заключается развѣ лишь въ томъ, что понятіе добра очень сильнымъ образомъ выставляетъ черту постоянства, прочности, плодотворности, изобилія хорошими, долговременными и многочисленными результатами, которая, впрочемъ, находится и въ понятіи пользы»—заявляетъ Чернышевскій («Антр. принц. въ фил.»); иными словами, между «добромъ» и «пользой» существуетъ только количественное, а не качественное различіе: очень большая польза есть добро...

Такое отрицаніе этики, съ той или иной точки зрѣнія, дважды встрѣчалось въ исторіи русской общественной мысли, а именно—въ шестидесятыхъ и девяностыхъ годахъ XIX-го вѣка. «Нравственность», «добро», «долгъ»—все это пустыя слова, говорили шестидесятники: что вы тамъ толкуете объ этичности или анти-этичности того или иного поступка? Онъ *полезенъ* (для меня или для общества), и этимъ все сказано.—«Нравственно», «справедливо»—все это пустыя слова, повторили, какъ мы увидимъ, девятидесятники: что вы тамъ толкуете объ этичности или анти-этичности того или иного процесса? Онъ *не-*

обходимъ, и этимъ все сказано. Иначе говоря, фетишизація категоріи полезности шестидесятниками и фетишизація категоріи необходимости людьми девяностыхъ годовъ одинаково приводила къ полному отрицанію этики: утилитаризмъ шестидесятыхъ годовъ былъ ея субъективнымъ отрицаніемъ, фатализмъ девяностыхъ годовъ — отрицаніемъ объективнымъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ результаты были одинаковы: отрицаніе этики было только внѣшней формой, такъ какъ оно немыслимо по существу.

Согласно извѣстному анекдоту, нѣкто, зараженный скептицизмомъ, заявлялъ, что онъ не вѣритъ въ географію; но это отрицаніе географіи не помѣшало ему сдѣлать кругосвѣтное путешествіе. Подобно этому и девятидесятники и шестидесятники „не вѣрили въ этику", что не мѣшало имъ,— напримѣръ, Чернышевскому,— высоко цѣнить „справедливость, священныя права человѣческой личности"... (см. „Экон. дѣят. и законод."). Чернышевскій иронизировалъ надъ экономическимъ либерализмомъ, который исходилъ изъ абсолютной экономической свободы отдѣльнаго лица, а приходилъ спасаться отъ этой свободы подъ сѣнь священныхъ правъ человѣческой личности: „вотъ оно куда пришло!" Но онъ не замѣтилъ, что со своей теоріей утилитаризма онъ самъ попалъ въ совершенно такое же положеніе; нетрудно было бы провести строгую параллель между утилитаризмомъ и системой laisser faire въ этомъ отношеніи.

Всѣ эти Лопуховы, Кирсановы, Рахметовы и вообще всѣ „положительные типы" изъ романа Чернышевскаго „Что дѣлать?" (въ которомъ проповѣдь теоріи утилитаризма занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ)—всѣ они не вѣрятъ въ географію и все-таки совершаютъ кругосвѣтныя путешествія: они отрицаютъ

„долгъ“ и руководствуются моралью долга, убѣждая себя приэтомъ, что ихъ единственный двигатель—эгоизмъ... Это не мѣшаетъ Чернышевскому принимать принципъ Фейербаха—homo homini deus, между тѣмъ какъ принципъ этотъ, въ своемъ приложеніи къ этикѣ, есть одно изъ наиболѣе яркихъ выраженій нормы этическаго индивидуализма—человѣкъ—цѣль, а не средство... Ошибка Чернышевскаго, а вмѣстѣ съ нимъ и всей эпохи шестидесятыхъ годовъ, какъ мы уже указали, заключается въ томъ, что *соціологическій принципъ блага реальной личности онъ смѣшивалъ съ этическимъ принципомъ моральной цѣнности дѣйствія*, въ томъ, что *этическую цѣнность дѣйствія онъ измѣрялъ его соціальной пользой*.

Каковы бы ни были, однако, самопротиворѣчія Чернышевскаго, они не мѣшали ему быть убѣжденнымъ сторонникомъ теоріи эгоизма и утилитаристической морали. Первые звуки этой морали мы слышали еще у Пнина, у декабристовъ (подъ вліяніемъ Бентама), наконецъ, даже у Герцена. „Могу ли я любить кого-нибудь не для себя, могу ли я любить, если это не доставляетъ *мнѣ*, именно *мнѣ* удовольствія“,—спрашивалъ, какъ мы помнимъ, Герценъ, считая эгоизмъ „въ глаза бросающимся грунтомъ всего человѣческаго“.

Впослѣдствіи мы еще вернемся къ этой мысли, поскольку она является вѣрной, а теперь напомнимъ только, что Герценъ, возставая противъ шаблоннаго противоположенія эгоизма и альтруизма, никогда не былъ приверженцемъ утилитаризма; мы видѣли въ его міровоззрѣніи яркій этическій индивидуализмъ, гармонично соединенный съ не менѣе яркимъ индивидуализмомъ соціологическимъ. Чернышевскій же, проповѣдуя самый послѣдовательный утилитаризмъ (поскольку утилитаризмъ можетъ быть послѣдовательнымъ), неизбѣжно долженъ былъ прійти къ этиче-

скому анти-индивидуализму—и это несмотря на то, что выше человѣческой личности онъ не принималъ на земномъ шарѣ ничего! Здѣсь передъ нами то самое совмѣщеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ, которое мы видѣли въ пушкинскомъ Алеко, въ Лермонтовѣ, которое одинъ разъ было отмѣчено нами даже у Бѣлинскаго. Но тамъ это было только случайнымъ штрихомъ настроенія; у Чернышевскаго же впервые это совмѣщеніе стало одной изъ наиболѣе характерныхъ чертъ самого міровоззрѣнія.

Совмѣщеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ—такова характерная черта не только міровоззрѣнія Чернышевскаго, но и всѣхъ шестидесятыхъ годовъ; это совмѣщеніе, невозможное по существу, возможное только при механическомъ смѣшеніи, а не при органическомъ соединеніи частей міровоззрѣнія,—это совмѣщеніе оказалось тѣмъ внутреннимъ противорѣчіемъ, которое погубило системы и теоріи шестидесятыхъ годовъ, міровоззрѣнія и Чернышевскаго, и Писарева. Когда Писаревъ довелъ воззрѣнія Чернышевскаго до ихъ логическаго конца, то передъ русской интеллигенціей оказалось поле, покрытое мертвыми костями. И только Лаврову и Михайловскому удалось въ семидесятыхъ годахъ собрать эти „membra disjecta“ міровоззрѣнія шестидесятыхъ годовъ, соединить ихъ и вдохнуть въ нихъ „душу живу“. Еще до нихъ пробовалъ это сдѣлать другъ и ученикъ Чернышевскаго—Добролюбовъ.

———

Добролюбовъ.

I.

Добролюбовъ дѣйствовалъ одновременно съ Чернышевскимъ, но въ совершенно иной области: они размежевались между собою, едва только Добролюбовъ выступилъ въ „Современникѣ" какъ литературный критикъ. Въ этой области Чернышевскій сразу призналъ его превосходство, несмотря на то, что въ области литературной критики (въ широкомъ смыслѣ этого слова) и самъ онъ представлялъ изъ себя далеко незаурядную величину: достаточно вспомнить его „Очерки гоголевскаго періода", его удивительно вѣрное опредѣленіе сути таланта Л. Толстого (въ 1856 г.), Писемскаго (въ 1858 г.), его характеристику „лишнихъ людей" и отношенія къ нимъ шестидесятниковъ („Русскій человѣкъ на rendez-vous", 1858 г.) и т. п. Но лишь только онъ почувствовалъ въ Добролюбовѣ громадную критическую силу, какъ тотчасъ же передалъ (1857 г.) весь критическій отдѣлъ „Современника" въ вѣдѣніе Добролюбова.

Когда мы называемъ Добролюбова литературнымъ критикомъ, то слово это надо понимать настолько же широко, какъ и при наименовании критикомъ Бѣлинскаго, или романистомъ—Достоевскаго: это только внѣшняя форма. Добролюбовъ разрабатывалъ въ своихъ критическихъ статьяхъ всѣ насущные вопросы современной ему эпохи—о роли интелли-

тенціи и роли личности въ исторіи, о воспитаніи, о значеніи лишнихъ людей для эпохи оффиціальнаго мѣщанства и шестидесятыхъ годовъ, о мѣщанствѣ и его значеніи и т. п.—бо́льшая часть чего была затронута Чернышевскимъ только мимоходомъ. Съ этой точки зрѣнія дѣятельность Чернышевскаго и Добролюбова представляется какъ бы взаимно дополнительной.

Что касается соціально-экономическихъ взглядовъ Добролюбова, то они сложились подъ непосредственнымъ вліяніемъ Чернышевскаго; неудивительно поэтому, что вездѣ, гдѣ только Добролюбовъ касается экономическихъ и соціальныхъ проблемъ, онъ повторяетъ и пересказываетъ только своими словами уже знакомыя намъ мысли Чернышевскаго. Чернышевскій отрицалъ это (см. его статью „Въ изъявленіе признательности“; „Совр.“, 1862 г., № 2), но факты говорятъ противъ него. Такъ, напримѣръ, въ вопросѣ объ общинѣ Добролюбовъ только повторялъ мысли своего учителя (см., напр., II, 409—419 *), противъ системы экономическаго либерализма протестовалъ почти его же словами (I, 474). Правда, встрѣчаются небольшія разнорѣчія, но они еще яснѣе показываютъ, что, пытаясь сказать въ этой области что-нибудь „свое“, Добролюбовъ впадалъ въ противорѣчія и самъ съ собой, и со своимъ учителемъ: такъ, напримѣръ, осуждая систему экономическаго либерализма, Добролюбовъ почти въ то же самое время восхищается государственнымъ индивидуализмомъ въ Англіи (II, 245). Другое разнорѣчіе—одно изъ наиболѣе крупныхъ—отношеніе къ Герцену въ вопросѣ о „мѣщанствѣ“ Европы. Мы видѣли, какъ сурово осудилъ Чернышевскій точку зрѣнія Герцена;

*) Цитаты по четырехтомному шестому изданію собр. соч. Добролюбова.

Добролюбовъ же сначала сталъ на сторону „русскаго изгнанника". Когда извѣстный въ то время профессоръ политической экономіи и либеральный доктринеръ, Бабстъ, въ своихъ путевыхъ письмахъ „Отъ Москвы до Лейпцига" (1859 г.) насмѣшливо отнесся къ тѣмъ „широкимъ натурамъ", которыя отрицательно относятся къ „мѣщанству" Европы, то Добролюбовъ весьма недвусмысленно присоединился къ Герцену, хотя и понялъ терминъ „мѣщанство" въ довольно узкомъ смыслѣ (III, 174—6). Кстати будетъ замѣтить, что и Чернышевскій весьма неглубоко понялъ смыслъ „мѣщанства" въ устахъ у Герцена; онъ побѣдоносно (и отчасти совершенно правильно) противопоставилъ мѣщанству—соціализмъ, но ничѣмъ не могъ парировать мнѣніе Герцена о возможности „мѣщанскаго соціализма". Но послѣ того, какъ Чернышевскій сталъ неоднократно и рѣзко нападать на точку зрѣнія Герцена по этому вопросу, Добролюбовъ ни разу не возвысилъ голоса въ защиту своей точки зрѣнія; очевидно, онъ перешелъ на сторону Чернышевскаго.

Итакъ, въ этой сторонѣ міровоззрѣнія Добролюбова мы не встрѣтимъ ничего новаго. Самъ Добролюбовъ вполнѣ прозрачно описываетъ свое развитіе, подъ видомъ развитія какого-то знакомаго, разсказывая, какъ онъ «изъ консервативной безотвѣтственности стремительно перескочилъ въ opposition légale», и какъ затѣмъ, бросивъ сухія и абстрактныя схемы, сдѣлалъ послѣдній шагъ: «отъ отвлеченнаго закона справедливости я перешелъ къ болѣе *реальному требованію человѣческаго блага;* я всѣ свои сомнѣнія и умствованія привелъ, наконецъ, къ одной формулѣ: человѣкъ и его счастье» (III. 290—2; курсивъ нашъ). Переводя это съ эзоповскаго языка того времени, мы увидимъ во всемъ этомъ переходъ Добролюбова отъ либерализма къ соціализму и именно къ тому его

пункту, который лежалъ въ основаніи всего міровоззрѣнія Чернышевскаго: къ благу реальной личности, какъ къ главному критерію. Приматъ народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ также былъ усвоенъ Добролюбовымъ вслѣдъ за Чернышевскимъ, причемъ у Добролюбова онъ принялъ только нѣсколько иную окраску, обратившись въ характерный впослѣдствіи для русскаго соціализма приматъ соціальнаго надъ политическимъ.

Въ 4-мъ номерѣ «Свистка» (1859 г.) Добролюбовъ помѣстилъ злую пародію на знаменитый «Ямбъ» Пушкина; онъ описываетъ въ немъ, какъ

Прогрессъ стопою благородной
Шелъ тихо торною стезей,

въ то время, какъ голодный народъ требовалъ хлѣба и не хотѣлъ идти за Прогрессомъ:

„Что дастъ онъ намъ? Чему онъ служитъ?
Зачѣмъ мы съ нимъ теперь идемъ?
И нынче всякъ, какъ прежде, тужитъ,
И нынче съ голода мы мремъ“...
—„Молчи, безумная толпа!

—гнѣвно перебиваетъ толпу Прогрессъ:—

Ты любишь наѣдаться сыто,
Но къ высшей правдѣ ты слѣпа,
Покамѣстъ брюхо не набито!
Скажи какую хочешь рѣчь
Тебѣ съ парламентской трибуны:
Но хлѣбъ тебѣ коль нечѣмъ печь,
То ты презришь ея перуны
И не поймешь ея красотъ!..“

Толпа иронически отвѣчаетъ на всю эту тираду:

„Насъ натощакъ не убѣждай,
Но обезпечь для насъ работу
И честно плату выдѣляй:
Оцѣнимъ мы твою заботу,—
Пойдемъ въ палаты засѣдать
И будемъ рѣчи вдохновенной
О благоденствіи вселенной
Свѣтло и радостно внимать!“

И вотъ заключительный аккордъ — отвѣтъ Прогресса:

„Подите прочь! Какое дѣло
Прогрессу мирному до васъ!
Жужжанье ваше надоѣло:
Смирите вашъ строптивый гласъ!
Прогрессъ—совсѣмъ не богадѣльня:
Онъ—служба будущимъ вѣкамъ;
Не остановится безцѣльно
Онъ для пособья бѣднякамъ“...

Какъ видимъ, въ этой ядовитой пародіи вполнѣ ясно сказались взгляды Добролюбова на націю и народъ, хотя и безъ такой терминологіи, причемъ однако онъ перенесъ центръ тяжести съ противопоставленія соціальнаго экономическому (распредѣленія — производству) на встрѣчавшееся нами уже у Герцена противоположеніе соціальнаго и политическаго, причемъ однако критерій въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же—благо реальной личности.

Если мы отмѣтимъ еще сочувственное отношеніе Добролюбова къ теоріи естественнаго права, какъ основѣ соціализма, и его вполнѣ недружелюбное отношеніе къ анархизму (III, 95—6; I, 474; III, 448 и сл.), то закончимъ этимъ знакомство съ общественными взглядами Добролюбова. Въ нихъ, какъ видимъ, мало оригинальнаго. Но тѣмъ подробнѣе надо познакомиться съ его пониманіемъ «личности». Принципъ блага реальной личности былъ у Добролюбова одинаковъ съ Чернышевскимъ; но пониманіе имъ роли и значенія личности было вполнѣ «свое».

II.

Въ самомъ началѣ своей статьи о Станкевичѣ (1858 г.) Добролюбовъ прежде всего останавливается на вопросѣ о роли личности въ исторіи; мы уже много разъ повторяли, что вопросъ этотъ не надо

смѣшивать съ вопросомъ объ индивидуализмѣ: мы видѣли даже, что иногда индивидуалисты не признаютъ значенія личности, въ то время какъ анти-индивидуалисты преувеличиваютъ роль личности въ исторіи. Добролюбовъ занимаетъ въ этомъ вопросѣ среднее положеніе, не преуменьшая, но и не преувеличивая роли и значенія личности; въ этомъ отношеніи онъ ближе всего подошелъ къ Герцену, который, какъ мы помнимъ, признавалъ и роль личности, и значеніе среды: «личность создается средой и событіями,—говорилъ Герценъ,—но и событія осуществляются личностями и носятъ на себѣ ихъ печать: тутъ взаимодѣйствіе»... Эту же мысль съ нѣсколько иной точки зрѣнія развиваетъ и Добролюбовъ.

«...О правахъ личности - говоритъ онъ—существуютъ два противоположные взгляда, оба ошибочные въ своихъ крайностяхъ. Одинъ, происходя отъ неуваженія къ личности вообще, отъ непониманія правъ каждаго человѣка, приводитъ къ неумѣренному, безразсудному поклоненію нѣсколькимъ непочтительнымъ личностямъ»... Это весьма тонкое и мѣткое замѣчаніе, доказывающее, что теорія «героевъ» не только не является индивидуалистической, какъ могло бы казаться съ перваго раза, но, напротивъ, граничитъ съ «отмѣненіемъ» личности неуваженіемъ къ ней; эту теорію Добролюбовъ рѣшительно отвергаетъ. Но это только одна сторона вопроса; съ другой стороны—«пустились теперь въ другую крайность: въ уничтоженіе вообще личностей. Важно общее теченіе дѣлъ..., важно развитіе народа и человѣчества, а не развитіе отдѣльныхъ личностей..., личность сама по себѣ не имѣетъ никакого значенія и мы не должны обращать на нее вниманія» (II, 5—6). Такова вторая крайность, не менѣе анти-индивидуалистическая, чѣмъ первая; Добролюбовъ первый отмѣтилъ, что какъ теорія «героевъ», такъ и теорія

«толпы» въ своемъ крайнемъ проявленіи одинаково унижаютъ личность.

Оба этихъ крайнихъ взгляда одинаково антипатичны Добролюбову (см., однако, I, 522); его точка зрѣнія синтетична. Онъ прекрасно уподобляетъ значеніе «великаго человѣка» дождю, который освѣжаетъ землю, но который, однако, есть результатъ испареній, поднимающихся съ той же земли (II, 68). «Конечно, ходъ развитія человѣчества не измѣняется отъ личностей», заявляетъ онъ, но унижать и уничтожать личности можно только «въ сферѣ отвлеченной мысли..., имѣя дѣло только съ идеями» (II, 6). Совершенно не то въ сферѣ реальной жизни: въ ней отдѣльныя личности играютъ несомнѣнную, а иногда и большую роль, хотя бы совершенно незамѣтную съ высоты птичьяго полета, при взглядѣ на общій ходъ исторіи; такъ, напримѣръ, движеніе народонаселенія въ какой-нибудь губерніи нисколько не измѣнится отъ пребыванія въ этой губерніи прекраснаго доктора, вылѣчившаго многихъ трудно-больныхъ; но это не уменьшаетъ значенія личности предполагаемаго доктора. Общій выводъ—несомнѣнно, вѣрный и изящно формулированный—тотъ, что въ сферѣ отвлеченной мысли роль личности въ исторіи ничтожна, въ сферѣ же реальной жизни эта роль можетъ быть весьма и весьма велика (II, 6).

Пользуемся случаемъ кстати указать на отношеніе Добролюбова къ вопросу о роли интеллигенціи; онъ подробно остановился на этомъ вопросѣ въ статьѣ «Литературныя мелочи прошлаго года» (1859 г.), противопоставляя интеллигенцію «литературѣ», т.-е. дѣятелямъ литературы, и доказывая главнымъ образомъ, что литература не можетъ ни въ чемъ приписать себѣ иниціативы (II, 397—408), а что всѣ жгучіе вопросы современности зародились въ обществѣ, въ интеллигенціи, а потомъ уже перешли на

столбцы журналовъ. Это вполнѣ согласно съ основной точкой зрѣнія Добролюбова; онъ хотѣлъ доказать, что не литература ведетъ за собой общество, то-есть не отдѣльныя личности—толпу, но общество рождаетъ въ себѣ вопросы, находящіе свою формулировку въ литературѣ: дождь падаетъ на землю не изъ небесныхъ резервуаровъ съ кранами, а накопляется изъ испареній той же земли.

Вернемся, однако, къ статьѣ Добролюбова о Станкевичѣ, въ которой затронутъ цѣлый рядъ глубоко важныхъ для того времени вопросовъ. Однимъ изъ такихъ вопросовъ былъ вопросъ о лишнихъ людяхъ, поставленный ребромъ еще Чернышевскимъ въ его статьѣ по поводу тургеневской «Аси» («Русскій человѣкъ на rendez-vous»; «Атеней» 1858 г., № 3). Въ этой статьѣ Чернышевскій ясно вскрылъ, что лишніе люди—жертвы эпохи оффиціальнаго мѣщанства, и призналъ даже, что они, по выраженію Бѣлинскаго, «благороднѣйшіе сосуды духа», загубленные средой. «Вы вините человѣка—замѣчаетъ Чернышевскій:—всмотритесь прежде, онъ ли въ томъ виноватъ, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества; всмотритесь хорошенько, быть можетъ, тутъ вовсе не вина его, а только бѣда его»... Поэтому для Чернышевскаго лишніе люди—только «симптомъ эпидемической болѣзни, укоренившейся въ нашемъ обществѣ». Это не помѣшало однако Чернышевскому обрушиться на лишнихъ людей всей тяжестью своей критики и относиться къ нимъ чѣмъ дальше, тѣмъ безпощаднѣе и безпощаднѣе.

Интеллигенція семидесятыхъ годовъ вынесла лишнимъ людямъ оправдательный приговоръ. «Развѣ рудинскіе разговоры, зажигающіе сердца и будящіе мысль,—не дѣло? Я больше спрошу: много ли найдется большихъ, выдающихся русскихъ людей, кото-

рымъ выпало на долю что-нибудь, кромѣ разговоровъ?» — спрашивалъ Михайловскій (въ 1874 г.). Именно такъ смотрѣли на себя и сами лишніе люди: «неужто надо непремѣнно дѣлать дѣла, чтобы дѣлать дѣло?» — спрашивалъ четвертью вѣка раньше Чаадаевъ. Въ своей статьѣ о Станкевичѣ, написанной почти одновременно съ вышеупомянутой статьей Чернышевскаго, Добролюбовъ близко подходитъ къ такой точкѣ зрѣнія. Онъ усиленно отстаиваетъ право личности на свободу, а въ своемъ отношеніи къ лишнимъ людямъ признаетъ слово тоже дѣломъ: болѣе того, онъ рѣшительно возстаетъ противъ того направленнаго противъ лишнихъ людей и часто высказывавшагося въ то время взгляда, что человѣкъ есть прежде всего работникъ и что трудъ — его назначеніе. «Не такъ давно одинъ изъ нашихъ даровитѣйшихъ писателей высказалъ прямо этотъ взглядъ, сказавши, что цѣль жизни не есть наслажденіе, а, напротивъ, есть вѣчный трудъ, вѣчная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодѣйствуя своимъ желаніямъ вслѣдствіе требованій нравственнаго долга». Рѣчь идетъ, очевидно, о Тургеневѣ и о заключительныхъ строкахъ его разсказа «Фаустъ» (1855 г.)*); впрочемъ, тѣ же самыя мысли въ нѣсколько иной окраскѣ высказывали впослѣдствіи Базаровъ, а раньше — Чернышевскій: природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ.

Нетрудно видѣть полнѣйшую анти-индивидуалистичность подобныхъ сужденій; Добролюбовъ останавливается главнымъ образомъ на томъ, что жизнь

---

*) Вотъ эти нѣсколько строкъ: „Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажденіе... жизнь — тяжелый трудъ. Отреченіе, отреченіе постоянное — вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка; не исполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, какъ бы онѣ возвышенны ни были, — исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку“...

человѣка есть, якобы, вѣчная жертва вслѣдствіе требованій нравственнаго долга, и ополчается противъ этого также вполнѣ анти-индивидуалистическаго взгляда. Дѣйствительно, также какъ мы не имѣемъ права съуживать понятіе «человѣка» въ тѣсныя рамки «работника», также не имѣемъ права считать отреченіе человѣка (и прежде всего отреченіе отъ своей личности) первымъ и главнымъ требованіемъ нравственнаго долга. «Взглядъ этотъ крайне печаленъ,— говоритъ Добролюбовъ, — потому что потребности человѣческой природы онъ прямо признаетъ противными требованіямъ долга; и, слѣдовательно, принимающіе такой взглядъ признаются въ своей крайней испорченности и нравственной негодности» (II, 7). Отрекаться отъ своей личности и приносить себя въ жертву требованіямъ долга будетъ лишь тотъ человѣкъ, у котораго стремленія и долгъ лежатъ въ различныхъ плоскостяхъ; вообще же говоря, у нормальнаго человѣка стремленія не должны расходиться съ требованіями нравственнаго долга.

Впрочемъ, Добролюбовъ постоянно подчеркиваетъ, что «долгъ» и «нравственность» онъ понимаетъ вовсе не въ смыслѣ ходячей морали, требующей жертвы и отреченія, какъ основной добродѣтели. Въ статьѣ «О нравственной стихіи въ поэзіи» (диссертація Ореста Миллера, 1858 г.) Добролюбовъ особенно подчеркиваетъ свое несогласіе съ основными положеніями такой морали: «Кто съумѣлъ сдѣлаться слугою до того, чтобы забыть о своей собственной самостоятельности,— говоритъ онъ,— не думать о неотъемлемыхъ правахъ, принадлежащихъ естественно каждому человѣку, словомъ, кто умѣлъ *отречься отъ своей личности* (курсивъ Добролюбова), тотъ и осуществилъ нравственный идеалъ рутинныхъ моралистовъ» (II, 315). Идеалъ этотъ безконечно ненавистенъ Добролюбову, который не находитъ достаточно рѣз-

кихъ словъ, чтобы заклеймить «это гнилое, тупоумное ученіе о приниженіи личности, объ аскетическомъ, безплодномъ пожертвованіи живою дѣятельностью ради какого-то внѣшняго, невѣдомо кѣмъ и какъ установленнаго принципа о долгѣ и нравственности» (II, 315—316); въ другомъ мѣстѣ онъ, очевидно, имѣя въ виду славянофильство, съ еще большей рѣзкостью говоритъ о «гнусной морали, предписывающей терпѣніе безъ конца и отреченіе отъ правъ собственной личности» (III, 11). «Сохраните же свою личную самостоятельность противъ всякаго авторитета, сохраните свою внутреннюю нравственность противъ всякихъ внѣшнихъ внушеній, противъ всего, что насильственно захотятъ навязать вамъ подъ ложнымъ названіемъ *долга*» —съ такимъ горячимъ увѣщаніемъ обращается Добролюбовъ къ молодежи (II, 324).

Изъ всего этого видно, что отнюдь не ходячую, книжную мораль имѣлъ въ виду Добролюбовъ, когда указывалъ, что стремленія человѣка должны совпадать съ нравственными требованіями; если стремленіе человѣка заключается въ жаждѣ жертвы и въ желаніи отреченія отъ личности, то пусть онъ жертвуетъ собой—и это въ данномъ случаѣ будетъ согласно съ его нравственными требованіями. Но—и въ этомъ главная мысль Добролюбова — никто не имѣетъ права частный случай возводить въ норму и требовать отреченія отъ своей личности, какъ общаго правила: «романтическія фразы объ отреченіи отъ себя, о трудѣ для самаго труда или «для такой цѣли, которая съ нашей личностью *ничего общаго* не имѣетъ», къ лицу были средневѣковому рыцарю печальнаго образа: но онѣ очень забавны въ устахъ образованнаго человѣка нашего времени»... «Человѣкъ не иначе можетъ удовлетвориться, какъ полнымъ согласіемъ съ самимъ собою, и... искать этого удов-

летворенія и согласія всякій не только можетъ, но и долженъ» (II, 14).

Все это ярко индивидуалистическія мысли, вполнѣ несогласныя съ принципами утилитаристической морали, которую позднѣе проповѣдывалъ Чернышевскій. Утилитарная мораль, принциповъ которой держался какъ онъ, такъ впослѣдствіи и Добролюбовъ, еще не выразилась у нихъ во всей своей полнотѣ, а потому мы отлагаемъ рѣчь о ней до знакомства съ этическими взглядами Писарева; пока мы замѣтимъ только, что Добролюбовъ никогда не понималъ утилитаристическіе принципы въ смыслѣ рѣзкаго и грубаго, мѣщанскаго эгоизма. Онъ прекрасно сознавалъ, быть можетъ, не безъ вліянія Герцена, что эгоизмъ эгоизму рознь, что есть «грубые эгоисты, которыхъ взглядъ узокъ» (II, 10), и что есть «благородный эгоизмъ самобытной личности» (II, 247); первый является аттрибутомъ мѣщанства, второй—послѣдовательнаго индивидуализма, согласно нашей терминологіи. Но это между прочимъ, а теперь мы еще разъ подчеркиваемъ, что міровоззрѣніе Добролюбова не было тѣмъ однобокимъ и одностороннимъ утилитаризмомъ, какимъ оно сдѣлалось отчасти у Писарева, а еще болѣе въ писаревщинѣ; широта взгляда Добролюбова особенно ясно выразилась въ его отношеніи къ лишнимъ людямъ и къ личности Станкевича; мы приведемъ здѣсь подлинныя слова Добролюбова, тѣмъ болѣе, что они особенно правильно и ясно освѣщаютъ типъ лишняго человѣка. «По нашему мнѣнію—это слова Добролюбова—опредѣлять нравственное достоинство лица и, слѣдовательно, права его на общественное уваженіе по одному только количеству пользы, принесенной имъ, несправедливо. Это точно такъ же одностороннне, какъ и сужденіе о человѣкѣ по однимъ его намѣреніямъ и убѣжденіямъ: одно слишкомъ субъективно, другое совершенно объективно... Чело-

вѣкъ высокочестный и нравственный въ своей жизни вполнѣ достоинъ уваженія общества именно за свою честность и нравственность... Даже натура чисто-созерцательная, не проявившаяся въ энергической дѣятельности общественной, но нашедшая въ себѣ столько силъ, чтобы выработать убѣжденія для собственной жизни и жить не въ разладѣ съ этими убѣжденіями,—даже такая натура не остается безъ благотворнаго вліянія на общество, именно своей личностью...» (II, 15—16).

Вотъ безспорная истина, но и не менѣе безспорная ересь для міровоззрѣнія шестидесятыхъ годовъ, которую не могъ раздѣлять Чернышевскій; быть можетъ, отчасти и подъ его вліяніемъ Добролюбовъ черезъ полгода измѣнилъ свою точку зрѣнія и строго осудилъ лишнихъ людей за ихъ приверженность слову, а не дѣлу, какъ мы это увидимъ ниже. Для насъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ былъ правъ въ первомъ случаѣ, когда протестовалъ противъ мнѣнія о безплодности жизни чисто-созерцательной натуры лишняго человѣка и находилъ, что «говорить это— значитъ обнаружить полное неуваженіе къ развитію индивидуальности человѣка и выразить претензію на абстрактное самоотреченіе, которое въ сущности есть не что иное, какъ обезличеніе» (II, 21). Подъ давленіемъ міровоззрѣнія эпохи и окружающей среды Добролюбовъ вскорѣ началъ именно «говорить это», и такой фактъ даетъ лишнее цѣнное указаніе на сильное вліяніе, оказываемое на него Чернышевскимъ.

Самъ Добролюбовъ дорого цѣнилъ личность, но въ то же время не зналъ, какъ примирить права индивидуальности съ требованіями общества; поддавшись теченію, онъ началъ высоко ставить дѣла и презирать слова, намѣренно игнорируя, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ слово есть большое и цѣнное дѣло, и что ужъ во всякомъ случаѣ слова Рудина

выше дѣлъ Штольца. Впрочемъ, рѣзко порвавъ вскорѣ съ людьми сороковыхъ годовъ, Добролюбовъ отдавалъ имъ должное и признавалъ, что именно они расчистили дорогу для молодого поколѣнія, хотя и увлекались чрезмѣрно абсолютными принципами. Здѣсь Добролюбовъ характеризуетъ свою эпоху, какъ время реалистическаго отношенія къ человѣку; онъ смѣется надъ абсолютными принципами, вродѣ «fiat justitia, pereat mundus», «лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни», и т. д.: для людей новаго времени все это слишкомъ абстрактно. «На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое, существенное благо»; человѣкъ же этотъ—не абстракція, а «настоящій человѣкъ, состоящій изъ плоти и крови, съ его дѣйствительными, а не фантастическими отношеніями ко всему внѣшнему міру» (II, 392). Личность этого человѣка должна быть ограждена отъ всякихъ покушеній на ея самостоятельность, ибо «первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности» (III, 368).

Во всемъ этомъ мы видимъ попытку разграниченія понятій реальной личности и абстрактнаго человѣка, составлявшаго главную сторону воззрѣній эпигоновъ западничества (а не самихъ западниковъ, людей сороковыхъ годовъ—въ этомъ ошибка Добролюбова). Во всякомъ случаѣ, въ 1858 году Добролюбовъ стоялъ на сторонѣ лишнихъ людей, или, по крайней мѣрѣ, понималъ ихъ внутреннюю трагедію; а, вѣдь, «понять»—значитъ «оправдать».

Не прошло, однако, и полугода, какъ Добролюбовъ рѣзко измѣнилъ свою точку зрѣнія и выступилъ съ желчной и ядовитой статьей противъ людей сороковыхъ годовъ («Литературныя мелочи прошлаго года», 1859 г.; «Благонамѣренность и дѣятельность», 1860 г.). Нѣкоторые хотятъ объяснить это извѣстнымъ стол-

кновеніемъ Добролюбова съ людьми сороковыхъ годовъ послѣ обѣда въ память Бѣлинскаго (6 іюня 1858 г.); нечего и говорить, насколько такое «объясненіе» недостойно по отношенію къ Добролюбову. Объясненіе напрашивается само собой, если мы вспомнимъ, что 1858—1859 г. былъ годомъ перехода Чернышевскаго (а значитъ и Добролюбова) отъ opposition légale къ революціонному соціализму. Естественно, что революціонное «дѣло» должно было замѣнить собою оппозиціонныя «слова», и Добролюбовъ именно въ это время заявлялъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи:

На трудъ и битву я готовъ,
Лишь бы начать въ союзѣ нашемъ
Живое дѣло, вмѣсто словъ!..

Отсюда понятна вражда къ представителямъ «Словъ»—лишнимъ людямъ, и вообще людямъ сороковыхъ годовъ. Теперь для Добролюбова эти люди нисколько не выше окружающей ихъ среды, они—такіе же типичные мѣщане. Въ этомъ отождествленіи мѣщанъ и лишнихъ людей — главный смыслъ знаменитой статьи Добролюбова «Что такое обломовщина? (1859 г.), какъ мы въ этомъ скоро убѣдимся.

III.

Прежде, чѣмъ коснуться этого вопроса, посмотримъ, какъ понималъ Добролюбовъ «мѣщанство» (конечно, не употребляя этого термина) и какъ относился къ нему. Не надо забывать, что дѣтство и юность Добролюбова прошли въ разгаръ террора системы оффиціальнаго мѣщанства, такъ что ненависть его къ этой системѣ коренилась глубоко въ самой жизни. Онъ понялъ, что система эта создала

«жалкую безцвѣтность пятидесятыхъ годовъ», что принципы и разсужденія этой системы покоятся на крѣпостномъ правѣ, что «исходный пунктъ всѣхъ этихъ разсужденій—отрицаніе личности въ подчиненномъ существѣ, признаніе его за товаръ, за вещь; поэтому первая его борьба была борьбой съ мѣщанствомъ за широту и глубину человѣка, за «возвышеніе правъ человѣческой личности» (III, 318, 360, 441). Къ этическому мѣщанству онъ испытывалъ такую же ненависть, какъ и Бѣлинскій, и Чернышевскій; «лучше потерпѣть кораблекрушеніе, чѣмъ увязнуть въ тинѣ»,—такъ формулировалъ свое отношеніе къ жизни Добролюбовъ, случайно повторяя почти дословно знакомыя намъ слова Бѣлинскаго, стремившагося изъ тихой пристани съ зеленой плѣсенью и мягкой тиной въ открытое море.

Взгляды Добролюбова на мѣщанство ярче всего выразились въ его отношеніи къ мѣщанству «темнаго царства» и къ мѣщанству обломовщины. Въ статьяхъ Добролюбова объ Островскомъ и о нарисованномъ послѣднимъ «темномъ царствѣ» выразилось такое глубокое пониманіе и сути темнаго царства, и творчества замѣчательнаго нашего драматурга, что и теперь, по прошествіи полувѣка, къ нимъ можно прибавить немногое.

Темное царство—это царство величайшей узости понятій и плоскости чувствъ; это царство обезличенныхъ и угнетенныхъ, съ одной стороны, и самодуровъ—съ другой; это—царство, въ которомъ никто не имѣетъ понятія о величайшей цѣнности человѣческой личности; это—царство сплошного, безпросвѣтнаго мѣщанства. Самодуръ, вродѣ Брускова или Гордѣя Карпыча,—полновластный царь въ этой темной средѣ; его слово — законъ, его воля — ненарушима. Главное его стремленіе—окончательно забить и уничтожить всякое проявленіе личности въ окру-

жающей его средѣ,—таковъ «порядокъ», завѣщанный ему предками; надо, чтобъ жена «боялась», чтобъ сынъ и дочь «изъ воли не выходили». Для того, чтобы окончательно забить личность, «самодуры сочиняютъ свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по ихъ толкованіямъ выходитъ, что чѣмъ болѣе личность стерта, неразличима, непримѣтна, тѣмъ она ближе къ идеалу совершеннаго человѣка» («Темное царство», 1859 г.; III, 68). Это «сглаженіе, *отмѣненіе* человѣческой личности» (III, 61), вполнѣ достигаетъ своей цѣли: самодуръ безпрекословно царитъ и властвуетъ въ своемъ темномъ царствѣ обезличенныхъ и забитыхъ, которымъ «не даютъ ничего, что въ жизни можетъ ограждать личность» (III, 64); но, съ другой стороны, вся эта система въ концѣ концовъ должна привести къ самымъ нежелательнымъ для самодура послѣдствіямъ. «Уничтожая права личности, ставя страхъ и покорность основою воспитанія и нравственности, эти начала только и могутъ обусловливать собою произволъ, угнетеніе и обманъ» (III, 73). Самодуръ поэтому никогда не можетъ быть спокоенъ: онъ знаетъ, что на его грубый произволъ и насиліе ему всегда могутъ отвѣтить ложью и обманомъ; къ тому же самодуръ—и это его неотъемлемое, неизбѣжное свойство—всегда слабъ и трусливъ, онъ артачится и издѣвается, пока не встрѣчаетъ должнаго противодѣйствія, и онъ всегда боится встрѣтить такое противодѣйствіе въ своемъ же темномъ царствѣ. Сталкиваясь съ другимъ такимъ же самодуромъ, онъ неизбѣжно высказываетъ весь свой эгоизмъ, заложенный въ него все той же моралью подавленія личности, и «находя, что личныя стремленія его принимаются всѣми враждебно, мало-по-малу приходитъ къ убѣжденію, что дѣйствительно личность его, какъ и личность всякаго другого, должна быть въ

антагонизмѣ со всѣмъ окружающимъ и что, слѣдовательно, чѣмъ болѣе онъ отниметъ отъ другихъ, тѣмъ полнѣе удовлетворитъ себя (III, 60). И эта волчья этика достойно увѣнчиваетъ собою всю систему самодурства, всю касту темнаго царства; Добролюбовъ удивительно ярко и образно объяснилъ и обнажилъ внутреннюю язву этого царства фактомъ «отмѣненія» въ немъ человѣческой личности. Въ другой своей статьѣ («Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», 1860 г.) онъ казалъ на характеръ Катерины, какъ на первый проблескъ протеста обезличенной, но сильной личности; это—характеръ рѣшительный, исполненный вѣры въ новые идеалы, предпочитающій смерть обезличенію. Это характеръ—глубоко-вѣрный чутью жизненной правды, цѣльный и гармоничный; «въ этой цѣльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю силу, продолжаютъ держаться внѣшнею механическою связью» (III, 459). Сильные люди появились въ темномъ царствѣ.

Островскій, этотъ крупный и тонкій художникъ, конечно, не имѣлъ въ виду придавать своимъ драмамъ символическій характеръ, подразумѣвая подъ своимъ темнымъ царствомъ дореформенную Россію; а между тѣмъ это невольно выразилось, какъ общій выводъ изъ всѣхъ его произведеній. Именно такое мнѣніе поддерживаетъ Добролюбовъ. Что *хотѣлъ сказать* своими произведеніями Островскій,—это неумѣстный вопросъ, неумѣстный въ отношеніи къ крупному художественному таланту; но намъ важно не то, что хотѣлъ сказать авторъ, а то, что *сказалось* имъ, хотя бы и ненамѣренно (ср. III, 61 и III, 257); яркое же сопоставленіе темнаго царства и эпохи оффиціальнаго мѣщанства невольно напрашивается, внѣ всякихъ намѣреній Островскаго. Добро-

любовъ высказалъ это достаточно ясно. «Комедія Островскаго осторожно подходитъ онъ къ этому пункту—...можетъ наводить на многія аналогическія соображенія»... (III, 22); аналогію провести нетрудно, если вспомнить, что Добролюбовъ говорилъ объ «отмѣненіи личности», и вспомнить также, что отмѣненіемъ личности характеризуется главнымъ образомъ эпоха оффиціальнаго мѣщанства. Пассивность темнаго царства—основной его признакъ (III, 98), а отъ этого и происходитъ, что «цѣлое общество терпитъ въ своихъ правахъ такое множество самодуровъ, мѣшающихъ развитію всякаго порядка и правды» (III, 94). А самодуры эти—вездѣ и повсюду, начиная съ купцовъ, продолжая чиновниками и кончая выше: «вся бѣда въ вѣдомствѣ Вишневскаго («Доходное мѣсто») оттого и происходитъ, что онъ самъ зараженъ самодурствомъ, а за нимъ ужъ и всѣ» (III, 124); вездѣ вокругъ себя мы видимъ Брусковыхъ, Торцовыхъ, Уланбековыхъ и чувствуемъ на себѣ ихъ мертвящее дыханіе (III, 127). Но по цензурнымъ условіямъ того времени Добролюбовъ не могъ достаточно ярко оттѣнить невольно напрашивающуюся аналогію; сознавая это, онъ заканчиваетъ свою статью знаменательнымъ указаніемъ на метафорическій способъ выраженія, котораго онъ долженъ былъ держаться; «впрочемъ,—прибавляетъ онъ—тѣ выводы и заключенія, которыхъ мы не досказали здѣсь, должны сами собой придти на мысль читателю» (III, 130—131).

IV.

Полное подавленіе человѣка и личности — вотъ что болѣе всего возмущаетъ Добролюбова въ окружающемъ его мѣщанствѣ; онъ ненавидитъ людей, безмятежно и ровно несущихъ, по выраженію

Штольца, сосудъ жизни черезъ всѣ четыре времени года: «трудно удержать въ себѣ порывъ презрѣнія и даже негодованія противъ этихъ людей, которыхъ все нравственное достоинство заключалось въ умѣренности, аккуратности и терпимости»... (I, 361). Къ числу такихъ людей Добролюбовъ причислялъ и мѣщанъ, и лишнихъ людей. Однако, такое отождествленіе онъ произвелъ уже послѣ 1858 года, т.-е. послѣ статьи «Н. В. Станкевичъ», о которой мы говорили выше. До этого времени онъ ясно видѣлъ всю разницу между мѣщанами и лишними людьми, онъ ясно понималъ, что лишніе люди — не мѣщане по существу, что ихъ искалѣчила и извратила система и эпоха оффиціальнаго мѣщанства. «Это натуры гордыя, сильныя, энергическія (?) — говорилъ онъ про нихъ:—получая нормальное, свободное развитіе, онѣ высоко поднимаются надъ толпою и изумляютъ міръ богатствомъ и громадностью своихъ духовныхъ силъ. Эти люди совершаютъ великія дѣла, становятся благодѣтелями человѣчества. Но, задержанные въ своемъ самобытномъ развитіи, сжатые пошлою рутиною, узкими понятіями какого-нибудь весьма ограниченнаго наставника, не имѣя простора для размаха своихъ крыльевъ, а принужденные брести тѣсной тропинкой, которая воспитателю кажется совершенно удобной и приличной, эти люди или впадаютъ въ апатичное бездѣйствіе, становясь лишними на бѣломъ свѣтѣ, или дѣлаются ярыми, слѣпыми противниками именно тѣхъ началъ, по которымъ ихъ воспитывали» (I, 211; «О значеніи авторитета въ воспитаніи», 1857 г.).

Все это очень мѣтко и въ общемъ достаточно вѣрно; еще подробнѣе Добролюбовъ вскорѣ остановился на томъ же вопросѣ въ статьѣ о «Губернскихъ Очеркахъ» (1857 г.). Разбирая «Талантливыя натуры» Салтыкова, онъ ставитъ вопросъ гораздо шире

послѣдняго. Въ обществѣ, еще недостаточно сознавшемъ права человѣка и значеніе личности, непремѣнно должны появиться два разряда людей, говоритъ Добролюбовъ; первые—«пассивные, безличные и крайне ограниченные, какъ въ своихъ способностяхъ, такъ и въ потребностяхъ» (I, 423). Это—мѣщане. Они «тяжелы на подъемъ, неподвижны и тупо вѣрны одному, разъ навсегда заученному правилу, разъ навсегда принятому авторитету»... «Убѣжденій и принциповъ нѣтъ для этихъ людей: для нихъ существуютъ только правила и формы»... «Они не волнуются, не сомнѣваются, ...въ жизни они всегда исправны»... «Это уже люди убитые, безнадежные» (Ibid.). Другой разрядъ людей—это уѣздные Гамлеты, талантливыя натуры, лишніе люди; ихъ появленіе Добролюбовъ объясняетъ вліяніемъ среды (I, 424) и признаетъ хорошія ихъ стороны, находитъ для нихъ хотя слабое оправданіе, но все-таки считаетъ, что и мѣщане и лишніе люди *оба хуже* другъ друга (I, 425). Раздѣляя, хотя и не вполнѣ ясно, мѣщанъ отъ лишнихъ людей, Добролюбовъ главное свое вниманіе обращаетъ на общія ихъ черты, это—«отсутствіе всякой самостоятельности, лѣнивая апатія и увлеченіе внѣшностью» (ibid.), т.-е. именно тѣ черты, которыя приближаютъ лишнихъ людей къ мѣщанству.

Мы видѣли, что въ статьѣ о Станкевичѣ Добролюбовъ сталъ въ положеніе, быть можетъ, ненамѣреннаго апологета лишнихъ людей, но уже черезъ полгода рѣзко измѣнилъ свое мнѣніе; причины этого мы отмѣтили выше. Теперь Добролюбовъ безпощадно осуждаетъ людей сороковыхъ годовъ. Въ осужденіи этихъ людей было много жестокаго и задорно-молодого; въ этомъ сквозила и прямолинейность мысли, и нѣкоторая нетерпимость революціоннаго настроенія; интересно, что людей сороковыхъ годовъ Добролю-

бовъ главнымъ образомъ обвиняетъ въ абстрактности идеала, въ преклоненіи передъ «принципомъ», т.-е. общей философской идеей, лежащей въ основѣ логики и морали. Немногіе, подобно Бѣлинскому, умѣли слить самихъ себя съ своимъ принципомъ (II, 389—390); остальные или ударились въ фразу, или скрылись за теорію малыхъ дѣлъ, столь ненавистную Добролюбову (III, 286—288). Ихъ Добролюбовъ иронически называетъ *благо-намѣренными*, въ буквальномъ смыслѣ, и считаетъ ихъ, какъ и всѣхъ лишнихъ людей, совершенно *неумѣстными* для жизни и дѣятельности, въ которой нужны дѣла, а не слова. «Да, прекраснымъ стремленіямъ души мы не придаемъ никакого практическаго значенія, пока они остаются только стремленіями; да, мы цѣнимъ только факты, только по дѣйствіямъ признаемъ достоинство людей» (III, 322).

Теперь понятно, почему въ статьѣ «Что такое обломовщина» (1859 г.) Добролюбовъ пришелъ къ отождествленію мѣщанъ и лишнихъ людей; но въ то же время понятна и ошибочность подобнаго отождествленія. Какимъ образомъ онъ соединилъ воедино такія противоположности, какъ Штольца и Рудина? Какимъ образомъ Обломова, типичнѣйшаго кандидата въ мѣщанина, онъ принялъ за лишняго человѣка? А вотъ именно потому, что подмѣтилъ въ немъ «прекрасныя стремленія души», не проявляющіяся въ фактахъ, потому что замѣтилъ въ немъ «безплодное стремленіе къ дѣятельности» (II, 512). Этимъ самымъ онъ пожелалъ свести на нѣтъ различіе между мѣщанами и лишними людьми и вычеркнуть все то, что онъ раньше говорилъ о людяхъ сороковыхъ годовъ (напр., въ статьѣ о Станкевичѣ); намъ нечего указывать на то, въ какомъ изъ этихъ случаевъ онъ былъ правъ. Какъ бы то ни было, но, даже смѣшивая мѣщанъ и лишнихъ

людей, Добролюбовъ главнымъ образомъ направлялъ свои удары на ту полную безличность, которая была однимъ изъ наиболѣе общихъ слѣдствій эпохи оффиціальнаго мѣщанства. Вообще говоря, та ненависть къ мѣщанству, которая прорывалась у Чернышевскаго въ рѣдкихъ случаяхъ (см., напр., его отношеніе къ поэзіи «умѣреннаго и аккуратнаго» Горація, «Совр.» 1857 г., № 1), выражалась у Добролюбова гораздо чаще и ярче.

Подводя общіе итоги всему сказанному выше про Добролюбова, мы можемъ теперь съ бо̀льшей увѣренностью повторить то, что уже высказали разъ, наполовину въ видѣ предположенія: Добролюбовъ находился подъ громаднымъ, подъ исключительнымъ вліяніемъ Чернышевскаго, какъ бы ни отрицалъ это послѣдній (иначе пришлось бы допустить обратное, что совершенно невозможно). Разумѣется, это вліяніе могло быть взаимнымъ, но нетрудно видѣть, на чьей сторонѣ былъ перевѣсъ. Конечно, подвергаясь вліянію своего учителя, Добролюбовъ не повторялъ его мысли и слова; онъ продолжалъ и развивалъ мысли, выработанныя имъ при общеніи съ такимъ могучимъ умомъ, какимъ былъ Чернышевскій. Провѣримъ это еще разъ на примѣрѣ отношенія ихъ обоихъ къ эстетикѣ; мы увидимъ еще разъ, какъ Добролюбовъ продолжалъ и развивалъ мнѣнія Чернышевскаго, автора «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности».

V.

Диссертація эта (1854 г.), какъ принято думать, была первой ласточкой утилитаризма въ искусствѣ, того утилитаризма, который достигъ впослѣдствіи крайней степени своего развитія у Писарева, а еще болѣе въ писаревщинѣ. Самъ Писаревъ въ своей

статьѣ «Разрушеніе эстетики» приписалъ честь (если въ этомъ есть честь) такого разрушенія автору «Эстетическихъ отношеній». Все это, какъ мы уже знаемъ, требуетъ большихъ и большихъ оговорокъ. Начать съ того, что Чернышевскій никогда не думалъ разрушать эстетику и принижать всю ту область «прекраснаго», которой Писаревъ не признавалъ и въ которой писаревцы видѣли только одно «irritatio spinalis». Дѣйствительнымъ разрушителемъ эстетики, а потому и глубочайшимъ антииндивидуалистомъ, не понимавшимъ, какъ можетъ человѣческая личность испытывать эмоціи, непонятныя ему самому, былъ Писаревъ; Чернышевскій же только сдѣлалъ попытку перенесенія «прекраснаго» изъ области искусства въ жизнь, и въ этомъ отношеніи его индивидуализмъ не подлежитъ никакому сомнѣнію и нисколько не умаляется тѣми слѣдствіями, которыя были выведены изъ теоріи Чернышевскаго позднѣйшими шестидесятниками.

Къ искусству Чернышевскій дѣйствительно относится отрицательно, и притомъ по довольно неожиданной причинѣ: онъ его обвиняетъ въ сплошномъ «мѣщанствѣ», въ принимаемомъ нами смыслѣ этого слова, обвиняетъ его въ мертвенности, мелочности и подслащиваніи природы. Искусство, говоритъ Чернышевскій, наряжаетъ и умываетъ природу, мелочно отдѣлываетъ подробности; вообще, «произведеніе искусства мелочнѣе того, что мы видимъ въ жизни и природѣ»... Пусть въ этомъ сказывается малое знакомство и невѣрное пониманіе искусства во всей его полнотѣ Чернышевскимъ, но зато всюду сквозитъ глубокая и сильная любовь къ дѣйствительной жизни и болѣе того—къ человѣческой индивидуальности. Конечно, диссертація Чернышевскаго—во многихъ мѣстахъ просто вполнѣ наивное, ученическое произведеніе, особенно тамъ, гдѣ онъ разсуждаетъ о не-

совершенствѣ скульптуры, живописи, музыки въ сравненіи съ совершенствомъ природы и жизни; но дѣло не въ истинности такихъ взглядовъ Чернышевскаго—объ этомъ не можетъ въ настоящее время быть двухъ мнѣній,—а въ его приниженіи того, что̀ ему кажется мертвымъ, и возвеличеніи того, что̀ ему кажется живымъ.

Лучшимъ опредѣленіемъ прекраснаго Чернышевскій считаетъ слѣдующее: «прекрасное есть жизнь, прекрасно то существо, въ которомъ мы видимъ жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни». Исходя отсюда, Чернышевскій вполнѣ логично пришелъ къ выводу, что дерево, растущее въ лѣсу, прекраснѣе нарисованнаго; это было, конечно, отрицаніемъ искусства, но уже одно то, что Чернышевскій могъ находить прекраснымъ живое дерево, живого человѣка, показываетъ, что онъ не повиненъ въ разрушеніи эстетики, а его страстная любовь къ жизни приближаетъ его эстетическія воззрѣнія къ индивидуализму. Критерій поэзіи—жизнь; критерій поэтическаго типа—индивидуальность: поэзія стремится къ живой индивидуальности, но успѣваетъ только приблизиться къ ней, и «степенью этого приближенія опредѣляется достоинство поэтическаго образа». Вся эта теорія—діаметральная противоположность той, которая была общепризнанной у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ и съ которой мы познакомились у Бѣлинскаго; возражая гегельянской эстетикѣ на положеніе «прекрасное есть абсолютное», Чернышевскій замѣчаетъ: «намъ, существамъ индивидуальнымъ, не могущимъ перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущяя перейти за границы своей индивидуальности».

Итакъ, ни о какомъ разрушенiи эстетики рѣчи быть не можетъ; можно говорить о переносѣ центра тяжести эстетики изъ искусства въ жизнь, а это — совсѣмъ другое дѣло. Конечно, все это зиждется на недоразумѣнiи, но это не мѣшаетъ всей теорiи имѣть ярко индивидуалистическую окраску, а самому Чернышевскому быть сторонникомъ эстетическаго индивидуализма (мы говоримъ о Чернышевскомъ начала шестидесятыхъ годовъ). Глубоко характерно поэтому его отношенiе къ вопросу объ искусствѣ для искусства; разбирая его, Чернышевскiй окончательно вскрываетъ всю глубину своего эстетическаго индивидуализма и высказываетъ истины, съ которыми совершенно не согласился бы любой шестидесятникъ болѣе поздняго времени,—и это не только въ своей диссертацiи, но и въ другихъ своихъ произведенiяхъ того времени.

Искусство для искусства, по мнѣнiю Чернышевскаго, вещь небывалая и невозможная, такъ какъ сводится въ сущности исключительно къ искусству формы; если подразумѣвать подъ нимъ свободу поэтическаго творчества, то и тогда дѣло не мѣняется. Поэтъ можетъ, конечно, въ разгарѣ Sturm und Drang перiода воспѣвать розы и любовь — онъ въ своемъ правѣ, но только его никто не будетъ слушать; гоненiе на лирику въ шестидесятыхъ годахъ достаточно показало это. Вопросъ о чистомъ искусствѣ состоитъ не въ томъ, «должна или не должна литература быть служительницею жизни»,—двухъ отвѣтовъ на это, по мнѣнiю Чернышевскаго, быть не можетъ,—а въ томъ, слѣдуетъ ли литературу ограничивать изящнымъ эпикуреизмомъ? Это, конечно, тоже односторонность, и Чернышевскiй въ рѣшенiи этого вопроса становится на широкую точку зрѣнiя, достойную его индивидуализма въ эстетикѣ: «нѣтъ нужды на односторонность отвѣчать

другою односторонностью—говоритъ онъ:—за остракизмъ, которому защитники такъ называемаго чистаго искусства хотѣли бы подвергнуть всѣ другія идеи и направленія литературы, кромѣ эпикурейскаго, нѣтъ нужды платить остракизмомъ, обращеннымъ противъ эпикурейской тенденціи»... («Очерки гогол. пер.»; «Совр.» 1856 г., № 12). Пусть существуетъ и такое «чистое искусство», ибо «вольному воля, а поэтъ по преимуществу долженъ быть воленъ» («Совр.» 1857 г., № 3; библіографія), но пусть жрецы такого искусства не удивляются полному пренебреженію со стороны своихъ современниковъ, интересы которыхъ, быть можетъ, лежатъ въ совершенно иной плоскости, и которые жаждутъ боевой поэзіи Тиртея, а не сладкихъ строфъ Анакреона...

Надо отдать справедливость Чернышевскому: во всемъ этомъ онъ проявилъ большую долю терпимости и наиболѣе вѣрное отношеніе къ вопросу объ искусствѣ за все время шестидесятыхъ годовъ. Но вскорѣ — приблизительно около 1858—59 г. — онъ измѣнилъ свою позицію въ этомъ вопросѣ, такъ какъ утилитаризмъ, пріобрѣвшій къ тому времени въ немъ вѣрнаго адепта, оказалъ вліяніе на всѣ стороны міровоззрѣнія Чернышевскаго; мы уже знаемъ, насколько отрицательнымъ было это вліяніе для широты и глубины этого міровоззрѣнія. Вліяніе утилитаризма не могло не отразиться на эстетическихъ воззрѣніяхъ Чернышевскаго; но такъ какъ къ тому времени онъ посвятилъ всѣ свои силы разработкѣ соціальныхъ проблемъ, то сомнительная «честь» введенія утилитаристическаго критерія въ эстетику выпала на долю Добролюбова.

Если «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности» подготовили почву для пришествія утилитаризма въ область эстетики, то Добролюбовъ первый провелъ этотъ утилитаристическій критерій

и тѣмъ самымъ явился первымъ представителемъ эстетическаго анти-индивидуализма въ шестидесятыхъ годахъ. Добролюбовъ категорически заявляетъ, что эстетическимъ критеріемъ долженъ быть принципъ полезности; онъ съуживаетъ рамки искусства, заявляя, что такъ какъ искусство зависитъ отъ жизни, а не наоборотъ, то все не вытекающее «прямо и естественно» изъ жизни является въ искусствѣ «уродливымъ и безсмысленнымъ» (I, 467—468).

Вотъ опасная точка зрѣнія, дающая большой просторъ произволу критика! Извольте, дѣйствительно, найти критерій для того, чтобы рѣшить, что прямо и естественно вытекаетъ изъ жизни и что нѣтъ. Далѣе Добролюбовъ становится на совершенно невѣрную почву, доказывая сторонникамъ искусства для искусства, что превосходное изображеніе древеснаго листочка *менѣе важно*, чѣмъ превосходное изображеніе характера человѣка,—здѣсь налицо примѣненіе утилитарнаго критерія къ эстетическимъ явленіямъ; и хотя это вполнѣ понятно для эпохи шестидесятыхъ годовъ, но нельзя не замѣтить, что больше правды было на сторонѣ Чернышевскаго, находившаго, что настоящее яблоко *красивѣе* нарисованнаго, чѣмъ на сторонѣ Добролюбова, замѣчающаго, что настоящее яблоко *полезнѣе* нарисованнаго. Конечно, вторая точка зрѣнія есть только дальнѣйшее развитіе первой, но это не мѣшаетъ первой болѣе приближаться къ истинѣ: по крайней мѣрѣ, въ ней мы имѣемъ измѣреніе эстетическихъ явленій эстетическимъ же критеріемъ, въ то время какъ вторая точка зрѣнія измѣряетъ длину—пудами.

Писаревъ довелъ эту вторую точку зрѣнія до крайняго развитія и явился дѣйствительно «разрушителемъ эстетики»; въ этомъ отношеніи онъ гораздо ближе къ Добролюбову, чѣмъ къ Чернышев-

скому. Добролюбовъ однимъ изъ первыхъ вычеркнулъ изъ своего словаря термины «красота», «художественность», а въ статьѣ «Черты для характеристики русскаго простонародья» (1860 г.) выразилъ достаточно ясно, что въ произведеніи искусства для него важна только цѣль, а не исполненіе *). Отсюда былъ всего одинъ шагъ до воззрѣній Писарева, къ которымъ мы и переходимъ; теперь же всего нѣсколько заключительныхъ словъ о Добролюбовѣ.

Подобно Бѣлинскому и Чернышевскому, Добролюбовъ не былъ литературнымъ критикомъ, по крайней мѣрѣ не былъ исключительно. Это былъ прежде всего публицистъ и общественный дѣятель и главная его сила заключается именно въ томъ, за что его такъ часто упрекали: онъ писалъ не *о* литературныхъ произведеніяхъ, а только *по поводу* ихъ. Вслѣдствіе этого онъ, конечно, не могъ измѣрять художественныя явленія эстетическимъ критеріемъ — и потому онъ не былъ критикомъ; но вслѣдствіе этого самаго онъ умѣлъ широко охватить вопросъ, изъ эстетической области перенести его въ общественную; а если прибавить къ этому его громадный талантъ страстнаго изложенія, то вполнѣ понятно обаяніе, которымъ окружено его имя.

Въ исторіи развитія русской общественной мысли его значеніе велико, хотя его роль и не особенно самостоятельна. Такое мнѣніе не можетъ унижать Добролюбова уже по одному тому, что онъ умеръ двадцатишестилѣтнимъ юношей, въ возрастѣ, когда большинство только начинаетъ работать; одно это позволяетъ судить, какой громадный талантъ умеръ

*) По этому поводу см. статью Достоевскаго «Г—бовъ и вопросъ объ искусствѣ» (въ журналѣ «Время», 1861 г.). Это — одна изъ лучшихъ критическихъ статей Достоевскаго, прекрасно разъясняющая взгляды Добролюбова и шестидесятниковъ на искусство

вмѣстѣ съ нимъ. Трудно себѣ представить, какую значительную роль онъ могъ бы сыграть въ исторіи русской общественной мысли, если бы не прервалась такъ преждевременно нить его жизни; теперь же ему суждено было сыграть роль соединительнаго звена между двумя половинами шестидесятыхъ годовъ, между міровоззрѣніями Чернышевскаго и Писарева.

Писаревъ.

I.

Писаревъ ярко характеризуетъ собою вторую половину шестидесятыхъ годовъ; мы должны удѣлить ему много вниманія, если желаемъ распутать тотъ клубокъ противорѣчій, въ который запутались въ шестидесятыхъ годахъ всѣ нити развивающейся русской общественной мысли. Та аріаднина нить, которая насъ вела доселѣ, поможетъ намъ найти выходъ и изъ созданнаго міровоззрѣніемъ шестидесятыхъ годовъ лабиринта противорѣчій.

Литературная дѣятельность Писарева началась въ годъ смерти Добролюбова, вмѣстѣ съ появленіемъ извѣстной статьи перваго «Схоластика XIX вѣка» въ 1861 г.; предисловіемъ къ этой дѣятельности были юношескія пробы пера, начиная съ 1857 г.; расцвѣтъ ея былъ въ 1862—1865 гг., и кончилась она статьей «Погибшіе и погибающіе» (конца 1865 г.), послѣ которой изъ-подъ пера Писарева не вышло ничего болѣе или менѣе заслуживающаго вниманія. Преждевременная смерть его (1868 г.) не дала ему времени примирить всѣ бросающіяся въ глаза противорѣчія своего міровоззрѣнія и дать русской интеллигенціи цѣльное міросозерцаніе, въ которомъ она такъ нуждалась.

Противорѣчія Писарева вполнѣ очевидны, особенно, если разбирать его взгляды въ различные

періоды его жизни: такъ, напримѣръ, циклъ статей «Схоластика XIX вѣка», «Стоячая вода», «Базаровъ» (1861—1862 гг.) во многомъ противоположенъ по основнымъ взглядамъ другому циклу (1863—1864 гг.), состоящему изъ статей «Зарожденіе культуры», «Цвѣты невиннаго юмора», «Мотивы русской драмы», «Реалисты». Въ статьяхъ 1865 г. можно найти много противорѣчій взглядамъ всѣхъ предыдущихъ годовъ; очевидно, Писаревъ еще не завершилъ къ тому времени свою идейную эволюцію. Въ высшей степени тщетна, однако, попытка нѣкоего мѣщанина во профессорствѣ, посвятившаго противорѣчіямъ Писарева чуть не цѣлую книгу, «развѣнчать» за эти противорѣчія замѣчательнѣйшаго нашего критика и публициста; не менѣе толстую книгу можно было бы посвятить и самопротиворѣчіямъ Бѣлинскаго въ трехъ періодахъ его дѣятельности, но такая работа могла бы снискать себѣ только печальную извѣстность. Что же касается противорѣчій у Писарева, то главное вниманіе надо обратить не на его противорѣчія, такъ сказать, «во времени» (ибо они объясняются эволюціей его взглядовъ), а на его одновременныя противорѣчія въ общественныхъ вопросахъ и въ эстетикѣ: эти противорѣчія произвели то, что можно назвать мертвой зыбью индивидуализма и анти-индивидуализма въ бурную эпоху шестидесятыхъ годовъ.

Всѣ обстоятельства жизни Писарева сложились такъ, чтобы дать полный просторъ наличности и развитію всѣхъ противорѣчій его міровоззрѣнія. Начать съ того, что воспитаніе его шло подъ ферулой системы оффиціальнаго мѣщанства, отзвуки которой можно видѣть изъ его писемъ (1850—1856 гг.), а также изъ статьи «Наша университетская наука»; отсюда понятна и естественна та жестокая ненависть къ мѣщанству, которую Писаревъ раздѣлялъ со

всѣми шестидесятниками. Съ другой стороны, на него оказало громадное вліяніе міровоззрѣніе первой половины шестидесятыхъ годовъ, выразившееся въ произведеніяхъ Чернышевскаго и Добролюбова и характеризуемое одновременно и соціалистическими тенденціями, и ярко-индивидуалистической ихъ обстановкой; отсюда у Писарева постоянное требованіе «эмансипаціи личности» и преклоненіе передъ личностью, переходящее въ ультра-индивидуализмъ. Примирить всѣ эти взгляды, свести ихъ къ одному цѣльному и гармоничному воззрѣнію Писареву не пришлось, — это выпало на долю критическому народничеству семидесятыхъ годовъ.

На отношеніи Писарева къ мѣщанству мы не будемъ останавливаться особенно подробно: оно не представитъ намъ чего-либо новаго сравнительно съ отношеніемъ къ мѣщанству Чернышевскаго или Добролюбова. Въ самомъ началѣ своей дѣятельности (1857—1859 гг.), въ своихъ первыхъ юношескихъ пробахъ пера, Писаревъ тогда еще добронравный студентъ, пропитанный насквозь мѣщанскими тенденціями, „овца“, по собственному его выраженію, относился къ мѣщанству болѣе чѣмъ снисходительно. Онъ чувствуетъ искреннѣйшія симпатіи къ Штольцу (I, 186—7 *) Лаврецкаго считаетъ „мужественной личностью“ (I, 201—202, хотя см. 201) Рудина и лишнихъ людей считаетъ людьми „съ ограниченными умственными средствами“ (I, 264). Все это показываетъ прежде всего малое пониманіе литературныхъ и общественныхъ явленій; да и неудивительно: Писаревъ сознавался впослѣдствіи, что даже свою «Схоластику XIX вѣка» онъ писалъ (уже въ 1861 г.) «положительно по слухамъ, о нашей литературѣ и критикѣ... не имѣлъ почти никакого понятія»...

*) Цитаты по шеститомному изданію Павленкова 1900—1 гг.).

Послѣ 1861 г. положеніе радикально мѣняется, такъ какъ въ казематѣ Петропавловской крѣпости онъ имѣлъ достаточно времени (1862—1866 гг.) перечитать сотни томовъ и получить полное понятіе и о литературѣ, и о критикѣ. Но свое отношеніе къ мѣщанству Писаревъ измѣнилъ гораздо раньше; уже въ статьѣ «Стоячая вода» (1861 г.) онъ ясно видитъ окружающее его мѣщанство: «безличность, безгласность, инерція, куда ни поглядишь, такъ и лѣзутъ въ глаза», — говоритъ онъ (I, 405), и послѣ этого уже не жалѣетъ яркихъ красокъ для характеристики мѣщанства. Для мѣщанъ и лишнихъ людей онъ изобрѣтаетъ новые термины: первые для него—карлики, вторые—вѣчныя дѣти («Мотивы русской драмы», 1864 г.); обоихъ вырабатываетъ наша жизнь, предоставленная своимъ собственнымъ принципамъ. «Карлики страдаютъ узостью и мелкостью ума, а вѣчныя дѣти—умственной спячкой" (III, 301); отъ нихъ нечего ждать добра, такъ какъ даже „новая помѣсь карлика съ вѣчнымъ ребенкомъ" дастъ только разновидность „стараго тупоумія". (Мы увидимъ, что такой „новой помѣсью" въ шестидесятыхъ годахъ былъ Молотовъ, отъ котораго, дѣйствительно, трудно ждать чего-либо путнаго). У карликовъ есть „и умишко, и кое-какая волишка, и миніатюрная энергія", но все это такъ ничтожно, такъ неуловимо-мелко... Одинъ только писатель, именно Гончаровъ, „пожелалъ возвести типъ карлика въ перлъ созданія; вслѣдствіе этого онъ произвелъ на свѣтъ Петра Ивановича Адуева и Андрея Ивановича Штольца"... Писаревъ не обинуясь говоритъ о своемъ „отвращеніи" къ этому типу (III, 307 и 295).

И это отвращеніе проходитъ красной нитью черезъ всѣ произведенія Писарева; уже въ одной изъ своихъ послѣднихъ статей („Романы Андре Лео", 1868 г.) онъ съ симпатіей говоритъ о „самомъ без-

пощадномъ осужденіи самодовольнаго, трусливаго, тщеславнаго, корыстолюбиваго и легкомысленнаго мѣщанства.... (которое) портитъ и развращаетъ все, что подчиняется его вліянію" (VI, 453) и которое подавляетъ всякую личность, не желающую подчиниться (VI, 410). Мѣщанская этика претила ему до глубины души. „*Мѣщанская* (нравственность) — эпитетъ довольно выразительный, — замѣчаетъ Писаревъ; — нравственныя понятія, установленныя общественнымъ кодексомъ, узки, мелки, робки, непослѣдовательны, какъ мѣщанскій либерализмъ, эмансипирующій личность *до извѣстныхъ предѣловъ*, какъ мѣщанскій скептицизмъ, допускающій критику *ума въ извѣстныхъ границахъ*" (I, 425: см. еще I, 348; курсивъ Писарева). Послѣдняя цитата особенно интересна тѣмъ, что изъ нея ясно видно, что Писаревъ не смѣшивалъ понятія „мѣщанства" и „буржуазіи"; онъ *мѣщанскую* этику считаетъ *общественнымъ* кодексомъ. На слѣдующихъ страницахъ (I, 426—433) онъ обвиняетъ въ мѣщанствѣ все общество огуломъ, освобождая отъ этого обвиненія только передовую часть интеллигенціи.

Въ своемъ отношеніи къ мѣщанству Писаревъ только даетъ варьяціи на темы, уже давно затронутыя и разработанныя главнымъ образомъ Герценомъ, а также Бѣлинскимъ и дѣятелями шестидесятыхъ годовъ; въ своихъ экономическихъ и соціальныхъ воззрѣніяхъ онъ также не пошелъ дальше Чернышевскаго. Ссылаясь на послѣдняго, онъ отрицательно относится къ экономическому либерализму, къ принципу laissez faire (V, 150) и къ „инсинуаціямъ московскихъ англомановъ" противъ общины (VI, 299). Либералъ, по ядовитому выраженію Писарева, это — такой человѣкъ, который выражаетъ безграничную преданность „великимъ принципамъ", возбуждающимъ въ немъ на самомъ дѣлѣ такія же чувства, какія

вызываетъ персидская ромашка въ клопѣ; «либералъ—это смиренная корова, жестоко перетянутая подпругой кавалерійскаго сѣдла, желающая принять бравурную осанку и пуститься съ правой ноги галопомъ» (V, 207—9). Такой пріемъ полемики былъ однимъ изъ весьма частыхъ въ эпоху шестидесятыхъ годовъ; впрочемъ, своими не вполнѣ вѣжливыми сравненіями Писаревъ подчеркиваетъ только фактъ внутренняго противорѣчія либерализма, выставляющаго „величайшимъ принципомъ" свободу человѣка и стремящагося къ системѣ наибольшаго производства: это опять-таки варіація на тему, разработанную Чернышевскимъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что такія экономическія и соціальныя воззрѣнія Писаревъ высказываетъ рѣдко и всегда вскользь, мимоходомъ, ясно показывая, что онъ не интересуется „человѣкомъ", и что „личность" занимаетъ первое мѣсто въ его чаяніяхъ и ожиданіяхъ.

Взгляды Писарева на личность болѣе или менѣе сформировались ко времени «Схоластики XIX вѣка», т.-е. ко времени его дебюта въ «Русскомъ Словѣ», въ журналѣ, настолько же характеризующемъ собою вторую половину шестидесятыхъ годовъ, насколько «Современникъ» характеризовалъ собою первую половину этой эпохи. Между собою они были врагами, такъ какъ на знамени одного было написано: «индивидуализмъ», а на знамени другого—«соціализмъ». Но мы знаемъ, что подобное противопоставленіе основано лишь на недоразумѣніи и можемъ a priori предвидѣть, что индивидуализмъ «Русскаго Слова» былъ настолько же соціалистиченъ, насколько соціализмъ «Современника» — индивидуалистиченъ. Условно можно сохранить и эту терминологію, повторяя вслѣдъ за Шелгуновымъ (см. его «Воспоминанія»), что «областью *Современника* были учрежденія и по-

рядка, областью *Русскаго Слова* — интеллигентная личность».

Писаревъ сдѣлался въ 1861—1866 гг. главнымъ представителемъ и выразителемъ этого теченія, ставившаго во главѣ угла интеллигентную личность; однако, и задолго до того времени для Писарева личность была главнымъ и наиболѣе цѣннымъ пунктомъ его убѣжденій. Правда, сперва это выражалось въ довольно наивной формѣ чистаго эгоизма въ превознесеніи собственной личности: «я рѣшилъ сосредоточить въ себѣ самомъ всѣ источники моего счастья, (и) съ этого времени я началъ строить себѣ цѣлую теорію эгоизма» — пишетъ девятнадцатилѣтній Писаревъ (1859 г.) своей матери. Этотъ эгоизмъ, переходящій часто чуть-ли не въ мѣщанство, сопровождалъ Писарева до конца его дней; въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ къ Шелгунову (отъ 15 іюня 1867 г.) онъ повторилъ почти въ тѣхъ же словахъ свою мысль: «я рѣшительно не могу, да и не хочу сдѣлаться настолько рабомъ какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нея отъ своихъ личныхъ интересовъ, желаній и страстей. Я глубокій эгоистъ не только по убѣжденію, но и по природѣ». Но оттѣнокъ мысли здѣсь уже совсѣмъ другой: въ 1859 г. Писаревъ держится эгоистической идеи, глубоко анти-индивидуалистичной по существу (сосредоточить *въ себѣ* источники *своего* счастья); восемь лѣтъ спустя окраска его взглядовъ уже вполнѣ индивидуалистическая (онъ не хочетъ быть рабомъ идеи, личность для него дороже). Стремленіе отъ эгоизма къ этическому индивидуализму — ключъ ко всей литературной дѣятельности Писарева; поворотнымъ и раздѣльнымъ годомъ является 1864-ый, какъ это мы увидимъ; теперь же мы познакомимся поближе съ этическими воззрѣніями Писарева.

II.

Утилитаризмъ былъ вѣрой не одного Писарева, но, какъ мы знаемъ, всѣхъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ. О полной несостоятельности утилитаризма въ этикѣ мы еще будемъ говорить ниже; теперь мы только подчеркнемъ еще разъ, что утилитаризмъ является типичнымъ этическимъ анти-индивидуализмомъ; въ этомъ отношеніи существуетъ уже отмѣченная нами полная аналогія между нимъ и либерализмомъ. Либерализмъ кладетъ въ основу экономическое благо «человѣка», причемъ послѣднее понятіе является у него двусмысленнымъ: говоря о человѣкѣ, либерализмъ думаетъ объ интересахъ общества и системы наибольшаго производства. Точно также утилитаризмъ является одинаково анти-индивидуалистичнымъ во всѣхъ своихъ разновидностяхъ, а особенно въ той, цѣль которой въ наибольшемъ счастьи наибольшаго числа людей (своего рода этическая система наибольшаго производства); поэтому анти-индивидуалистичнымъ онъ былъ у Чернышевскаго и Добролюбова. Надо, впрочемъ, прибавить, что русскій утилитаристъ шестидесятыхъ годовъ не шелъ далѣе азовъ и не пытался теоретически разработать свои положенія въ цѣльную систему; онъ принималъ догматично принципы удовольствія и пользы, клеилъ изъ нихъ доктрину эгоизма и останавливался, вполнѣ довольный собою. Настолько же догматично онъ отвергалъ понятія нравственнаго сознанія или долга, считая его принадлежностью мѣщанской морали, и такимъ образомъ выплескивалъ изъ ванны вмѣстѣ съ водой и ребенка, говоря словами нѣмецкой пословицы.

Въ Писаревѣ сказался переломъ русской этической мысли отъ догматики къ критицизму. Дѣйстви-

тельно, наивный эгоизмъ долженъ впасть или въ мѣщанство, или обратиться въ эгоизмъ критическій, иначе говоря—въ этическій индивидуализмъ; первое случилось въ писаревщинѣ, въ нигилизмѣ, второе—въ народничествѣ семидесятыхъ годовъ. Писаревъ въ этомъ отношеніи стоитъ ближе къ представителямъ народничества, чѣмъ къ своимъ не въ мѣру ретивымъ ученикамъ. Сперва онъ держался, какъ мы видѣли, взглядовъ наивнаго эгоизма и проводилъ ихъ въ своихъ статьяхъ и письмахъ. Его девизъ—«жить своимъ умомъ въ свое удовольствіе», его цѣль—«вынести изъ каждаго своего усилія возможно большее количество наслажденія; это, по моему мнѣнію, альфа и омега всякой разумной человѣческой дѣятельности», прибавляетъ Писаревъ («Идеализмъ Платона», 1861 г.; I, 269—270). Идея эгоизма, объясняетъ Писаревъ въ ту же пору своей жизни (въ статьѣ «Стоячая вода», 1861 г.), неразрывно связана съ идеей свободы личности: «эгоизмъ—система умственныхъ убѣжденій, ведущая къ полной эмансипаціи личности»... «Гнетъ общества надъ личностью такъ же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣсняя свободы своихъ сосѣдей (а это и значитъ, по Писареву, быть эгоистомъ), ...тогда, конечно, были бы устранены причины многихъ несчастій и страданій», такъ какъ эгоизмъ въ своей основѣ «ставитъ цѣлью жизни наслажденіе» (I, 428—430). «Для меня каждый человѣкъ существуетъ настолько, насколько онъ приноситъ мнѣ удовольствія»,—находимъ мы въ то же самое время въ письмѣ Писарева къ матери.

На такой узкой и безплодной точкѣ зрѣнія Писаревъ остановиться не могъ. Принявъ за цѣль удовольствіе, наслажденіе, личную пользу, нѣтъ возможности быть общественнымъ дѣятелемъ и учителемъ (чѣмъ стремился быть и чѣмъ былъ Писаревъ), ибо

нѣтъ возможности построить законы и нормы общаго поведенія, что всегда является цѣлью учительства. Пришлось идею о личной пользѣ и наслажденіи перенести за предѣлы своей индивидуальности; это было сдѣлано по трафареткамъ Милля, книга котораго «Утилитаризмъ» сдѣлалась въ то время настольной книгой русскаго интеллигента. Такъ или иначе, но къ 1864 г., т.-е. ко времени появленія статей «Мотивы русской драмы» и «Реалисты», взглядъ Писарева уже далекъ отъ наивнаго эгоизма былыхъ годовъ; онъ теперь спѣшитъ указать, что «слово *польза* мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ» (IV, 95), онъ вполнѣ признаетъ понятія нравственнаго сознанія и долга (IV, 121—122). Эти новые взгляды заставили Писарева измѣнить свое отношеніе къ другимъ индивидуальностямъ: раньше онъ цѣнилъ ихъ по степени удовольствія и только теперь онъ цѣнитъ въ нихъ индивидуальность; «я началъ любить людей вообще,—пишетъ онъ матери въ январѣ 1865 г.,—а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла». Эгоизмъ переработался въ индивидуализмъ.

Такой переходъ, очевидно, отразился на всѣхъ сторонахъ міровоззрѣнія молодого публициста, не ограничиваясь только вопросами этики. Вопросъ о личности и обществѣ тоже претерпѣлъ измѣненіе въ постановкѣ, причемъ, однако, сущность вопроса осталась всей той же: эмансипація личности—этому девизу и знамени Писаревъ не измѣнялъ никогда, но въ разныя времена онъ толковалъ его различно и сражался за него разнымъ оружіемъ. Минуя его юношескія пробы пера, въ которыхъ мы не найдемъ ничего особеннаго по этому вопросу, обратимся сразу къ его статьямъ 1861 года: въ нихъ его горячій

индивидуализмъ сказался уже съ достаточной очевидностью.

Въ статьѣ «Идеализмъ Платона» Писаревъ стоитъ на ультра-индивидуалистической точкѣ зрѣнія, параллельной его наивному эгоизму того времени. Онъ рѣзко осуждаетъ «генералъ-отъ-философіи Платона» за его нравственную философію и за его теорію государства; всякія абсолютныя нормы должны быть осуждены, какъ уродливыя проявленія идеалистической философіи. На этомъ пути субъективизмъ Писарева не знаетъ себѣ границъ; онъ доходитъ до такихъ крайнихъ предѣловъ, что проповѣдуетъ крестовый походъ противъ всякаго идеала. Ни одинъ порядочный медикъ не предпишетъ всѣмъ своимъ паціентамъ общую гигіену, заявляетъ Писаревъ, ни одинъ окулистъ не заставитъ всѣхъ носить одинаковыя очки, ни одинъ сапожникъ не сдѣлаетъ всѣмъ своимъ заказчикамъ сапогъ по одной общей мѣркѣ; такъ «пора же, наконецъ, понять, господа, что общій идеалъ такъ же мало можетъ предъявить правъ на существованіе, какъ общія очки или общіе сапоги, сшитые по одной мѣркѣ и на одну колодку... Надо же, наконецъ, понять, что идеалъ не есть даже отвлеченное понятіе, а просто осколокъ съ другой личности: всякій идеалъ имѣетъ своего автора»...

Долой идеалы! — вотъ боевой кличъ ультра-индивидуализма шестидесятыхъ годовъ; за себя Писаревъ вполнѣ ручается: «я себѣ не поставлю впереди никакой цѣли, не задамся никакой предвзятой идеею»; единственная цѣль, какъ мы уже знаемъ, — наслажденіе. «Одни и тѣ же пріемы (развитія) не могутъ быть примѣнены даже къ двумъ недѣлимымъ», если же и примѣняются, то тогда люди „стараются во имя идеала уничтожить свою личность или тѣ зародыши, изъ которыхъ при благопріятныхъ условіяхъ могла бы развиться самостоятельная индивидуаль-

ность". Такіе люди—мѣщане, и изъ этихъ-то людей и состоитъ современное общество. „Живой человѣкъ съ сожалѣніемъ посмотритъ на такое общество; зачѣмъ, подумаетъ онъ, эти господа добровольно поддерживаютъ придуманные законы, отъ которыхъ каждому отдѣльному лицу приходится терпѣть лишенія? Этотъ вопросъ, вѣроятно, кажется вамъ здравымъ, а между тѣмъ всѣ эти господа, стѣсняющіе свою личную свободу во имя придуманныхъ или наслѣдственныхъ законовъ, всѣ до послѣдняго—идеалисты, хотя, конечно, многіе изъ нихъ и не слыхали никогда этого слова". Они принимаютъ общій идеалъ и стѣсняютъ этимъ собственную личность; отрицая общій идеалъ, Писаревъ съ особенной силой настаиваетъ на возможномъ развитіи собственной индивидуальности: „отвергая общій идеалъ, я не думаю отвергать необходимость и законность самосовершенствованія", ибо самосовершенствованіе есть неизбѣжный естественный процессъ, такой же, какъ дыханіе или кровообращеніе, такъ что процессъ самосовершенствованія не есть стремленіе къ идеалу и кончится онъ „не тѣмъ, что человѣкъ приблизится къ идеалу, а тѣмъ, что онъ сдѣлается *личностью*, получитъ разумное право и сознаетъ блаженную необходимость быть самимъ собою" (I, 265—270).

Какой удивительный клубокъ спутанныхъ понятій, «мѣщанскихъ» взглядовъ и ярко-индивидуалистическихъ воззрѣній! Клубокъ этотъ впослѣдствіи распутало, или, вѣрнѣе разрубило, какъ Гордіевъ узелъ, критическое народничество семидесятыхъ годовъ; для Писарева же даже въ 1865—1866 г., при совершившейся эволюціи міровоззрѣнія отъ эгоизма къ индивидуализму и отъ догматизма къ критицизму, многое изъ изложеннаго выше осталось непререкаемымъ: прежде всего осталось таковымъ начало личности, а во-вторыхъ—странное пониманіе идеализма. Шутка

сказать, наличность общаго идеала есть признакъ мѣщанства! Это удивительное тождество «идеализмъ=мѣщанство» легло потомъ въ основу писаревщины и привело къ результатамъ, которые рѣзко осудилъ бы учитель и родоначальникъ такого взгляда.

III.

Итакъ, «одни и тѣ же пріемы (развитія) не могутъ быть примѣнены даже къ двумъ недѣлимымъ», — слышали мы только-что отъ Писарева. Интересно съ этой точки зрѣнія нѣсколько остановиться на отношеніи шестидесятниковъ къ вопросу о воспитаніи, тѣмъ болѣе, что на этомъ частномъ случаѣ наглядно выяснится ходъ развитія русской общественной мысли отъ Чернышевскаго черезъ Добролюбова къ Писареву. Вопросъ о воспитаніи былъ выдвинутъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Пироговымъ, въ его извѣстныхъ и надѣлавшихъ тогда много шуму «Вопросахъ жизни». Это былъ рѣзкій протестъ противъ крайностей спеціализаціи, вредныхъ для общества и гибельныхъ для индивидуума; яркимъ motto для всей этой статьи служитъ слѣдующій характерный діалогъ:

— «Къ чему вы готовите вашего сына?—кто-то спросилъ меня.

— Быть человѣкомъ,—отвѣчалъ я.

— Развѣ вы не знаете,—сказалъ спросившій,—что людей собственно нѣтъ на свѣтѣ? Это—одно отвлеченіе, вовсе ненужное для нашего общества. Намъ необходимы негоціанты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди...

Правда это или нѣтъ?»

Ставя такъ вопросъ, Пироговъ только развивалъ мысль, уже давно высказанную и Герценомъ, и Бѣлинскимъ: «быть *человѣкомъ*—значитъ имѣть полное и законное право на существованіе и не будучи ни-

чѣмъ другимъ, какъ только человѣкомъ», — заявлялъ послѣдній изъ нихъ (въ статьѣ о Пушкинѣ, гл. VII; см. также рецензію на стихотворенія Шгавера и др.). Конечно, Пироговъ рѣшаетъ вопросъ въ этомъ же направленіи; воспитаніе, говоритъ онъ, прежде всего должно «сдѣлать насъ людьми», выработать въ насъ личность, или, по выраженію Пирогова, выработать въ насъ внутренняго человѣка. «Дайте выработаться и развиться внутреннему человѣку, дайте ему время и средства подчинить себѣ наружнаго, и у васъ будутъ и негоціанты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное—у васъ будутъ люди и граждане» («Морской Сборникъ» 1856 г., № 5).

На этотъ вопросъ, поднятый Пироговымъ, отозвались другъ за другомъ въ теченіе шестидесятыхъ годовъ и Чернышевскій, и Добролюбовъ, и Писаревъ, причемъ всѣ они, конечно вполнѣ принимали данное Пироговымъ рѣшеніе, т. е. въ сущности еще рѣшеніе Бѣлинскаго и Герцена; однако, каждый изъ нихъ привнесъ въ это рѣшеніе значительную долю собственной личности. Такъ, напримѣръ, Чернышевскій обратилъ главное вниманіе на отрицательное отношеніе къ спеціализаціи и вполнѣ раздѣлилъ его: онъ убѣжденъ въ необходимости того, чтобы «общечеловѣческое образованіе играло главную роль въ воспитаніи» («Современникъ» 1856 г., № 8); но онъ не обратилъ вниманія на слова Пирогова о необходимости развитія «внутренняго человѣка» (т. е. «личности») прежде развитія «человѣка внѣшняго» (т.-е. «человѣка»).

Добролюбовъ обратилъ на это большее вниманіе. Разбору взглядовъ Пирогова онъ посвятилъ цѣлую статью («О значеніи авторитета въ воспитаніи», 1857 г.), останавливаясь главнымъ образомъ на недостаткахъ современнаго воспитанія, не обращающаго вниманія на индивидуальность, и отодвигая на второй

планъ вопросъ о спеціализаціи (ибо уже слишкомъ очевидно, что на него нѣтъ другого отвѣта, кромѣ вполнѣ отрицательнаго). Главная задача педагогики, по мнѣнію Добролюбова, заключается въ возможно полномъ развитіи индивидуальности, а потому всякіе способы приниженія личности ребенка—будь то авторитетъ, спеціализація, наказаніе и тому подобные факторы—должны быть безусловно осуждены. «Мы требуемъ,—заканчиваетъ Добролюбовъ, – чтобы воспитатели выказывали болѣе уваженія къ человѣческой природѣ и старались о развитіи, а не о подавленіи *внутренняго человѣка* въ своихъ воспитанникахъ» (I, 212). Добролюбовъ ставитъ вопросъ шире, чѣмъ это сдѣлалъ Чернышевскій, обратившій главное вниманіе на отрицательныя стороны спеціализаціи; онъ понимаетъ, что не въ одной спеціализаціи дѣло и что она есть только одна изъ многихъ отрицательныхъ сторонъ болѣе общаго вопроса—подавленія дѣтской индивидуальности.

Писаревъ пошелъ гораздо дальше Чернышевскаго и Добролюбова; онъ уже не останавливается на осужденіи спеціализаціи, не доказываетъ, что задача воспитанія—развитіе «внутренняго человѣка»: все это для него слишкомъ азбучныя истины. Онъ только мимоходомъ наноситъ нѣсколько ударовъ «кретинизирующей дѣятельности» спеціализаціи и «умственному кастратству» спеціалистовъ; онъ на сторонѣ профановъ и дилетантовъ, ибо дилетантизмъ есть только «сопротивленіе добросовѣстному стремленію поглупѣть» (I, 366; III, 18, 47—8; IV, 588—590). Но Писаревъ не останавливается на этомъ. Онъ идетъ дальше—и совершенно отрицаетъ всякое воспитаніе, какъ насиліе надъ личностью. Воспитывать — это значитъ «врываться въ интеллектуальный міръ другого человѣка съ своей инициативой», а это «безчестно и нелѣпо»: безчестно потому, что, «воспитывая

нашихъ дѣтей, мы втискиваемъ молодую жизнь въ тѣ уродливыя формы, которыя тяготѣли надъ нами; мы поступаемъ такимъ образомъ съ такими личностями, которыя сами не могутъ еще ни подать голоса, ни заявить протеста; мы безъ спросу мнемъ чужія личности и чужія силы»; а нелѣпо потому, что хозяинъ, вступивъ во владѣніе, непремѣнно разрушитъ выстроенное нами зданіе, тѣмъ болѣе, что это зданіе часто бываетъ выстроено изъ сплошной лжи. «Природа даетъ дѣтямъ молочные зубы, которые потомъ выпадаютъ и замѣняются настоящими. Ну, а мы—должно быть для симметріи—вкладываемъ имъ въ голову молочныя идеи, которыя потомъ также выпадаютъ и также замѣняются настоящими». Но и независимо отъ этого, каждый долженъ уважать индивидуальность ребенка, а потому и совершенно отказаться отъ воспитанія; ребенокъ долженъ все критически переработать самъ въ своей душѣ. «Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствовалъ свое *я* и отдѣлилъ себя отъ окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи»...—а потому «умный и широко развитый человѣкъ никогда не рѣшится воспитывать ребенка»... Вся задача воспитателя будетъ сводиться къ доставленію ребенку физической безопасности и пищи, а главнымъ образомъ—матеріаловъ духовныхъ, мысли для переработки. Роль воспитателя — въ высокой степени пассивная, а не активная (I, 421, 507—8; III, 72—74; IV, 204, 588, 561; VI, 312 и др.).

IV.

Мысли Писарева о воспитаніи показываютъ въ немъ горячаго борца за человѣческую индивидуаль-

ность; въ то же самое время видно, до какого крайняго логическаго предѣла доводилъ онъ положенія своихъ предшественниковъ: Бѣлинскаго, Герцена, Чернышевскаго и Добролюбова. Стоило сдѣлать еще одинъ шагъ, чтобы упереться въ безвыходный тупикъ, какъ это и случилось съ „нигилистами“ конца шестидесятыхъ годовъ, для которыхъ „писаревщина“ была символомъ вѣры.

Продолжимъ наше знакомство съ дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ Писарева на личность; взгляды эти особенно ярко сказались въ уже не разъ упомянутой статьѣ „Схоластика XIX вѣка“, предисловіемъ къ которой послужила его диссертація объ „Аполлоніи Тіанскомъ“ (конца 1860 г.) Въ этой диссертаціи Писаревъ относится вполнѣ враждебно къ „генералъ-отъ-философіи“ Платону, равно какъ и къ Аристотелю, такъ какъ они „оба жертвуютъ отдѣльною личностью во имя цѣлаго“ и смотрятъ на человѣка, какъ на винтъ общественнаго организма; Аристотель хотя и вступается за личность, но отстаиваетъ ее „не для нея самой, а для государства“.. Однимъ словомъ, даже Аристотель „не возвысился до понятія человѣческой личности“ (это сдѣлали, по мнѣнію Писарева, гедонисты киренейской школы) и признавалъ, что заслуживаютъ вниманія „не отдѣльныя личности гражданъ, а весь организмъ государства“; прогрессъ въ такомъ государствѣ нежелателенъ, такъ какъ Аристотель „считалъ человѣческую личность частью и, слѣдовательно, не могъ желать развитія части, потому что такое развитіе могло нарушить гармонію цѣлаго“ (II, 14—22).

Вѣрно или невѣрно понималъ Писаревъ Аристотеля—вопросъ второстепенный; важно то, что изъ всего предыдущаго вполнѣ выясняется отрицательное отношеніе Писарева къ органической теоріи общества, и болѣе того—ко всѣмъ теоріямъ, ставящимъ чело-

вѣка выше личности. Чернышевскій развивалъ теоріи «русскаго соціализма» въ то самое время, какъ молодой Писаревъ свысока отзывался «о несбыточныхъ и оскорбительныхъ для личности человѣка утопіяхъ коммунизма» (II, 123). Ультра индивидуализмъ Писарева не высказывался въ чистомъ видѣ въ этой оффиціальной работѣ, но его отзывы о личности и обществѣ явно вскрывали его симпатіи (см. II, 96, 191 и др.).

Дальнѣйшее развитіе взглядовъ, выраженныхъ въ диссертаціи и въ статьѣ о Платонѣ, мы найдемъ въ «Схоластикѣ XIX вѣка» (1861 г.); здѣсь мы уже встрѣтимъ болѣе подробную формулировку идей, высказанныхъ въ предыдущихъ статьяхъ. Задача литературы — эманспиація личности; литература должна «всѣми своими силами эмансипировать человѣческую личность отъ тѣхъ разнообразныхъ стѣсненій, которыя налагаютъ на нее робость собственной мысли, предразсудки касты, авторитетъ преданія, стремленіе къ общему идеалу (I, 339). Робость мысли часто бываетъ слѣдствіемъ авторитета преданія, что же касается кастъ, которыя имѣютъ мѣсто и въ русской интеллигенціи, то онѣ не что иное, какъ «систематическое подавленіе всякой личной оригинальности» (IV, 238), хотя ихъ историческое значеніе, быть можетъ, и велико (V, 347 — 354); наконецъ, общій идеалъ является несомнѣннымъ тормазомъ личности,— это Писаревъ уже считаетъ доказаннымъ въ своей статьѣ объ «Идеализмѣ Платона». Наша художественная литература всегда преслѣдовала цѣль, указываемую Писаревымъ: «наши художники говорятъ за человѣка, за самородныя и неотъемлемыя свойства и права его личности, ...только интересы человѣческой личности волнуютъ и потрясаютъ впечатлительные нервы художника»... «Наша изящная словесность обращаетъ свое вниманіе не столько на общество,

столько на человѣческую личность»... (I. 471 и 344); публицистика и критика еще не дошли до такого индивидуализма. Впрочемъ, и онѣ не могутъ обращать особеннаго вниманія на «общество», ибо у насъ оно не существуетъ: есть только рядъ разрозненныхъ кружковъ, каждый со своими взглядами и идеалами (I. 344—5. Отчего, однако, это не нравится Писареву, если общій идеалъ также невозможенъ, какъ общія очки?..) Отчасти по этой причинѣ, отчасти же и по другимъ, коренящимся въ самихъ условіяхъ человѣческой природы, критика должна быть проникнута крайнимъ субъективизмомъ; общаго критерія нѣтъ и быть не можетъ, также какъ и общаго идеала: «личное впечатлѣніе и только личное впечатлѣніе можетъ быть мѣриломъ красоты» (I. 353), поэтому задача критика—давать публикѣ отчетъ о личномъ своемъ впечатлѣніи.

Никакихъ общихъ идеаловъ, никакихъ общихъ теорій! Долой теоріи! — вотъ второй боевой кличъ Писарева, также какъ и первый (долой идеалы!), вполнѣ усвоенный писаревщиной и доведенный ею до крайнихъ логическихъ предѣловъ. «...Было бы очень хорошо — заявляетъ Писаревъ — если бы вѣра въ необходимость теоріи была подорвана въ массѣ читающаго общества. Строго проведенная теорія непремѣнно ведетъ къ стѣсненію личности, а вѣрить въ необходимость стѣсненія значитъ смотрѣть на весь міръ глазами аскета и истязать самого себя изъ любви къ искусству» (I. 354). «Теорія», «убѣжденія», «принципы» — все это пережитки понятій долга и нравственнаго сознанія, все это — непремѣнная принадлежность столь ненавистнаго Писареву «идеализма». «Идеалисты .. готовы все сломать передъ своимъ убѣжденіемъ — и чужую личность, и свои интересы... (Они) рѣшительно не хотятъ взять въ толкъ, что человѣкъ всегда дороже мозго-

вого вывода» (II, 419). Такимъ образомъ, базируясь на индивидуализмѣ, Писаревъ совершенно отрицаетъ возможность и необходимость теорій: вѣдь, теорія есть не что иное, какъ система воззрѣній, «а воззрѣнія не могутъ быть ни истины, ни ложны: есть мое, ваше воззрѣніе, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждаго свое» (I, 375). Вотъ почему Писаревъ отказывается отъ задачи доказывать читателю вѣрность своихъ взглядовъ и убѣжденій; къ тому же «умственная и нравственная пропаганда есть до нѣкоторой степени посягательство на чужую свободу» (I, 369).

Дальше этого въ субъективизмѣ и ультра-индивидуализмѣ некуда было идти; теорія, отрицающая теорію, воззрѣніе, отрицающее истинность воззрѣній, на томъ основаніи, что нѣтъ двухъ тождественныхъ индивидуальностей—это уже заколдованный кругъ, это сказка о журавлѣ въ болотѣ; носъ вытащилъ—хвостъ увязъ, хвостъ вытащилъ—носъ увязъ... Критика, считающая своей задачей пересказъ личныхъ впечатлѣній и не желающая устанавливать и доказывать своей точки зрѣнія, чтобы не посягать на свободу чужой индивидуальности—это въ нѣкоторомъ родѣ „чистая критика", „критика для критики"; критикъ пописываетъ, читатель почитываетъ, и оба довольны такимъ мозговымъ пищевареніемъ.

Вся эта нездоровая часть теорій Писарева цѣликомъ вошла въ воззрѣнія его учениковъ и послѣдователей; писаревщина—это развитіе идей, высказанныхъ Писаревымъ именно въ эту пору его дѣятельности, въ пору наивнаго эгоизма, ультра-индивидуализма и субъективизма. Ученики постарались довести до абсурда и безъ того крайнія положенія учителя; но надо прибавить, что самъ Писаревъ никогда не держался и не проводилъ такихъ теорій. Каждая его статья—убѣжденное и блестящее дока-

зательство лежащей въ ея основѣ мысли; въ каждой замѣтно стремленіе къ общему идеалу, который является критеріемъ. Какъ Писаревъ могъ не замѣтить, что его требованіе „эмансипаціи личности", его крайній индивидуализмъ является именно „общимъ идеаломъ" и критеріемъ, противъ которыхъ онъ возставалъ столь горячо? Онъ не замѣтилъ этого сначала, также какъ не замѣтилъ, что въ своемъ крайнемъ субъективизмѣ онъ только повторяетъ основныя положенія „идеалиста" Бѣлинскаго въ періодъ его фихтіанства.

Какой громадный шагъ назадъ сдѣлала русская критика за десять лѣтъ, протекшихъ со дня смерти Бѣлинскаго—и это въ эпоху, казалось бы, расцвѣта критики, въ эпоху Чернышевскаго, Добролюбова, Писарева! Чтобы впослѣдствіи не возвращаться къ этому вопросу, напомнимъ вкратцѣ здѣсь исторію развитія русской критики, тѣсно связанную съ исторіей развитія русской общественной мысли. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ, въ періодъ своего фихтіанства, Бѣлинскій хотя и оговаривался, что „субъективное мнѣніе критика не есть истина", но все же склоненъ былъ думать, что „дѣло критики есть отдѣленіе красотъ отъ недостатковъ въ произведеніи искусства, а мѣрка при этомъ химическомъ процессѣ—личное ощущеніе критика" („О романахъ Лажечникова"). Отъ этой крайности эпохи фихтіанства Бѣлинскій перешелъ къ обратной крайности въ періодъ своего гегельянства. Теперь, по мнѣнію Бѣлинскаго, всякое литературное явленіе должно служить только „средствомъ для приложенія общихъ законовъ къ частному явленію"; главный предметъ критики—„идеи, какъ первообразы вѣчныхъ и непреходящихъ законовъ разума", личное же, индивидуальное мнѣніе и чувство критика совершенно не допускаются, такъ какъ до „случайнаго убѣжденія случайной личности...

никому нѣтъ дѣла" и такъ какъ индивидуальность „сама по себѣ очень неважная вещь"; все должно быть основано на общей мысли, которая основывается „на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики" („Очерки Бородинскаго сраженія"). Мы знаемъ, что крайности фихтіанскаго ультра-индивидуализма и гегеліянскаго анти-индивидуализма Бѣлинскій съумѣлъ синтезировать въ сороковыхъ годахъ, въ третьемъ, наиболѣе блестящемъ періодѣ своей дѣятельности; въ это время онъ высказывалъ и свое окончательное сужденіе о роли и значеніи критики (въ статьяхъ о Пушкинѣ, гл. V, и въ статьѣ по поводу „Рѣчи о критикѣ" Никитенко). Теперь Бѣлинскій одинаково вооружается и противъ „субъективной", и противъ „объективной" критики въ ея крайнихъ проявленіяхъ, особенно противъ первой. „Нельзя ничего ни утверждать, ни отрицать на основаніи личнаго произвола, непосредственнаго чувства или индивидуальнаго убѣжденія: судъ принадлежитъ разуму, а не лицамъ", заявляетъ Бѣлинскій, называя представителей такой субъективной критики „добродушными невѣждами"— если эта критика искренна, и „литературной саранчой"—если она пристрастна. Но въ то же время Бѣлинскій отрицательно относится къ идеѣ абсолютной объективности критики: для него вполнѣ очевидно, что критика не математика, не можетъ и не должна быть ею; крайній субъективизмъ въ критикѣ ведетъ, по его мнѣнію, къ безсистемности и произволу, крайній объективизмъ—къ подавляющей все живое теоретичности. Безопасный проходъ „между Сциллой безсистемности и Харибдой теорій" Бѣлинскій видитъ въ синтезѣ объективности общаго основанія съ субъективностью личнаго впечатлѣнія критика. На этой точкѣ зрѣнія Бѣлинскій твердо стоялъ до самаго конца своей критической дѣятельности.

Чернышевскій, Добролюбовъ и Писаревъ повторили въ обратномъ порядкѣ вышеописанный процессъ развитія мыслей Бѣлинскаго. Чернышевскій является въ области критики вѣрнымъ ученикомъ и сторонникомъ идей третьяго періода дѣятельности Бѣлинскаго; это достаточно ясно хотя бы изъ однихъ его „Очерковъ гоголевскаго періода“. Добролюбовъ замѣтно склонялся, особенно въ своихъ позднѣйшихъ статьяхъ, къ чистому объективизму въ критикѣ и часто лишь съ трудомъ избѣгалъ „Харибды теоретичности“. Наоборотъ, Писаревъ, какъ мы видѣли, былъ окончательно поглощенъ „Сциллой безсистемности“ и, ничтоже сумняся, проповѣдывалъ идеи эпохи фихтіанства Бѣлинскаго... Русская „критическая“ (въ буквальномъ значеніи) мысль завершила кругъ своего развитія и пришла къ своей исходной точкѣ.

V.

Самъ Писаревъ скоро увидѣлъ, въ какой тупикъ завела его теорія чистаго субъективизма въ критикѣ; и мы увидимъ, что впослѣдствіи онъ самъ иронизировалъ надъ этой своей точкой зрѣнія, давая ей обидную кличку „эстетизма“. Но это было уже въ 1865 г., а теперь, въ „Схоластикѣ XIX вѣка“, Писаревъ держался именно такого взгляда. Надо замѣтить, что въ это время онъ, быть можетъ, безсознательно реагируя противъ крайности добролюбовскаго объективизма, только потому и былъ поглощенъ Сциллой безсистемности, что впалъ въ крайности борьбы съ Харибдой теоретичности. И поскольку онъ борется съ послѣдней,— онъ стоитъ на вѣрной почвѣ, хотя его нападки на теорію и не выдерживаютъ критики. Теоретичность—это стремленіе втиснуть все существующее въ рамки одной теоріи,

одного принципа, это—желаніе построить не теорію по окружающей дѣйствительности, а дѣйствительность по предвзятой теоріи: теоретичность поэтому всегда узка, плоска и абстрактна. Теоретичностью отличалось, напримѣръ, либеральное доктринерство, равно какъ и всѣ теоріи, игнорирующія реальную личность ради абстрактнаго человѣка. Такія абстрактныя теоріи человѣческаго блага должны быть безпощадно отринуты главнымъ образомъ „во имя цѣлостности человѣческой личности“ и принципа индивидуализаціи (I, 366). Этотъ принципъ—прежде всего и выше всего: „уважайте въ себѣ и въ другихъ человѣческую личность“ (I, 349), такъ какъ личность—послѣднее слово человѣческой культуры. И въ слѣдующихъ словахъ Писаревъ вскрываетъ основную мысль всей своей статьи: „эманципація личности и уваженіе къ ея самостоятельности является послѣднимъ продуктомъ позднѣйшей цивилизаціи. *Дальше этой цѣли мы еще ничего не видимъ въ процессѣ историческаго развитія*“... (I, 359; курсивъ нашъ). Это не мѣшаетъ Писареву черезъ нѣсколько страницъ утверждать: „я вижу въ жизни только процессъ и устраняю цѣль и идеалъ“ (I, 369),—но дѣло не въ этихъ противорѣчіяхъ. Мы видѣли, что устраненіе цѣли, идеала и теоріи—это теорія Писарева, которую онъ высказалъ, которую предоставилъ въ полное пользованіе своихъ послѣдователей, и которой онъ не держался; наоборотъ, у него была цѣль, былъ идеалъ—идеалъ эманципаціи личности, цѣль достиженія возможно широкаго индивидуализма. Въ этомъ онъ былъ вѣренъ самому себѣ во все время своей дѣятельности; онъ могъ заблуждаться и заблуждался — напримѣръ, въ рѣзкомъ ультра-индивидуализмѣ и субъективизмѣ первыхъ годовъ,—но „общій идеалъ“ все время твердо оставался въ его владѣніи.

Крайніе взгляды Писарева достигаютъ своего кульминаціоннаго пункта въ статьѣ „Базаровъ“ (1862 г.). Романъ Тургенева, какъ извѣстно, послужилъ поводомъ для генеральнаго сраженія между „Современникомъ“ и „Русскимъ Словомъ“, изъ которыхъ первый считалъ Базарова жалкой и лживой пародіей на передовую молодежь, а второе выставляло его идеаломъ, заслуживающимъ полнаго подражанія. Истина, какъ это часто бываетъ, лежала посрединѣ, и ужъ, во всякомъ случаѣ, Базаровъ не былъ ни пародіей, ни идеаломъ; это былъ переходный типъ отъ шестидесятниковъ времени Чернышевскаго и Добролюбова къ нигилистамъ.

Впослѣдствіи, въ статьѣ „Реалисты“, Писаревъ совершенно иначе понялъ Базарова; теперь же, въ 1862 г., онъ поставилъ его на пьедесталъ и этимъ вполнѣ отдалъ дань своимъ ультра-индивидуалистическимъ воззрѣніямъ. Базаровъ для него — послѣднее слово, сказанное русской интеллигенціей; раньше были люди, не выдержавшіе мѣщанства, но не знавшіе, куда приложить свои силы, Печорины съ волей, но безъ знанія: „здѣсь отдѣльная личность отрывается отъ стада, но не умѣетъ распорядиться собою“; затѣмъ пришли Рудины, со знаніемъ, но безъ воли: „здѣсь личность сознаетъ свою отдѣльность, составляетъ себѣ понятіе самостоятельной жизни и, не осмѣливаясь двинуться съ мѣста, раздваиваетъ свое существованіе, отдѣляетъ міръ мысли отъ міра жизни“ (напомнимъ читателямъ, что мы выше говорили о раздвоенности лишнихъ людей). Наконецъ, въ шестидесятыхъ годахъ появились Базаровы, со знаніемъ и съ волей, съ тождественностью мысли и дѣла: „здѣсь личность достигаетъ полнаго самоосвобожденія, полной особности и самостоятельности“ (II, 394—5).

Такимъ образомъ, Базаровъ является представи-

телемъ наиболѣе полнаго индивидуализма, въ томъ смыслѣ, въ какомъ тогда принималъ это слово Писаревъ; Базаровъ—его идеалъ по той простой причинѣ, что въ немъ онъ увидѣлъ (правильно или нѣтъ— вопросъ другой) воплощеніе всѣхъ своихъ уже знакомыхъ намъ теорій, выражающихся девизами „долой идеалы, долой теоріи, долой цѣль! жизнь есть процессъ, и только процессъ!." Въ Базаровѣ онъ увидѣлъ воплощеніе всѣхъ своихъ взглядовъ на личность, на эгоизмъ, на принципы утилитаризма; онъ не соглася только съ его эстетическими взглядами, какъ мы это отмѣтимъ впослѣдствіи, но все остальное принялъ безъ оговорокъ. Личное наслажденіе—единственный побудительный мотивъ Базарова и ему подобныхъ: „ничто, кромѣ личнаго вкуса, не мѣшаетъ имъ убивать и грабить, и ничто, кромѣ личнаго вкуса, не побуждаетъ людей подобнаго закала дѣлать открытія въ области наукъ" (II, 382). Этотъ личный вкусъ умѣряется только разсчетомъ, и внѣ этого у Базарова нѣтъ ни идеала, ни цѣли, ни теоріи: „имъ управляютъ только личная прихоть или личные разсчеты. Ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высокаго помысла, и при всемъ томъ—силы огромныя" (II, 384).

Такова во весь ростъ фигура ультра-индивидуалиста, которой восхищается Писаревъ; восхищается же потому, что въ типѣ Базарова, по его мнѣнію, воплотились тѣ черты, которыя онъ считалъ наиболѣе цѣнными въ своемъ поколѣніи. Идеализируя Базарова, Писаревъ довелъ до крайнихъ предѣловъ ультра-индивидуализма, но не пошелъ дальше. Онъ отрицалъ принципы,—но не могъ впасть въ безпринципность, отрицалъ теоретичность,—и не могъ обой-

тись безъ теорій; сидя въ одиночномъ заключеніи, онъ полюбилъ людей, и съ 1863 года начинается постепенное сглаживаніе всѣхъ шероховатостей юношескихъ воззрѣній, начинается выработка новаго міросозерцанія, принимающаго и личность, и общество, какъ два взаимно-дополнительныхъ фактора.

VI.

Въ статьѣ «Зарожденіе культуры»— первой, написанной въ казематѣ Петропавловской крѣпости въ 1863 г., уже замѣтны признаки совершающейся эволюціи; какъ будто дѣйствительно для Писарева необходимо было одиночное заключеніе, чтобы убѣдить его въ полной несостоятельности всѣхъ ультра-индивидуалистическихъ теорій. Въ своемъ одиночномъ заключеніи Писаревъ имѣлъ время перечесть сотни томовъ и глубже вдуматься въ взаимоотношеніе личности и общества; первая его статья была изложеніемъ политико-экономическихъ взглядовъ Кэри, одного изъ первыхъ критиковъ оффиціальной, «профессорской» политической экономіи, особенно сильно возставшаго противъ абстракціи чистаго эгоизма, какъ единственнаго фактора экономическихъ (а значитъ и соціальныхъ) отношеній.

Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно, какія именно книги оказали на Писарева наибольшее вліяніе въ первые годы его тюремнаго заключенія, но можно съ большой вѣроятностью заключить, что это были произведенія соціально-исторической мысли: по крайней мѣрѣ, самыя крупныя его статьи 1862—1866 гг. излагаютъ общественно-историческіе вопросы европейской жизни. Онъ обращаетъ вниманіе на борьбу за свободу печати («Очерки изъ исторіи печати во Франціи», 1862 г.), излагаетъ экономическія воззрѣнія Кэри («Зарожденіе культуры», 1863 г.), популяри-

зируетъ исторію великой революціи («Историческіе эскизы», 1864 г.), слѣдитъ за побѣдой начала человѣка и личности надъ темными силами средневѣковья («Историческое развитіе европейской мысли», 1864 г., «Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы», 1865 г.), наконецъ, даетъ общій стройный сводъ всѣмъ своимъ историческимъ и соціологическимъ взглядамъ, излагая доктрину Конта («Историческія идеи Огюста Конта», 1865). Все это—громадныя по размѣру статьи, дающія въ общей суммѣ до 40 печатныхъ листовъ; онѣ показываютъ, насколько внимательно относился Писаревъ къ общественно-историческимъ вопросамъ; но надо прибавить, что все-таки онъ не успѣлъ еще выработать себѣ яснаго и твердаго взгляда на детерминизмъ явленій, на роль личности въ исторіи.

Казалось бы, что Писаревъ, подобно большинству шестидесятниковъ, бывшій въ то время поклонникомъ Бокля, долженъ былъ твердо стоять на строго детерминистической точкѣ зрѣнія. И дѣйствительно, сначала Писаревъ заявляетъ себя строгимъ детерминистомъ и ожесточеннымъ врагомъ теоріи «героевъ», какъ вершителей судебъ народовъ и коричнихъ историческаго процесса; въ этомъ заключается основное положеніе его знаменитой статьи «Бѣдная русская мысль» (1862 г.). «Дѣятельность великихъ людей—заявляетъ Писаревъ—была ограничена тѣмъ кругомъ идей, который былъ въ ихъ время достояніемъ общаго сознанія»... «Эти большіе люди, эти такъ называемые дѣятели—просто образчики извѣстной эпохи, просто безотвѣтныя игрушки событій»... Никакой Петръ Великій не въ силахъ измѣнить теченіе и направленіе историческаго процесса: «жизнь тѣхъ семидесяти милліоновъ, которые называются общимъ именемъ русскаго народа, вовсе не измѣнилась бы въ своихъ отправленіяхъ, если бы, напримѣръ,

Шакловитому удалось убить молодого Петра»... Не великій человѣкъ создаетъ свою среду, а среда создаетъ своего великаго человѣка; каждая его мысль уже создана въ окружающей его средѣ. «Развѣ мысль является когда-нибудь случайно? Развѣ же она сваливается съ неба? Вы безъ надобности не повернете головы, не шевельнете пальцемъ; каждое движеніе ваше непремѣнно вызывается или внутреннею потребностью, или внѣшнимъ впечатлѣніемъ»...

Все это мы уже слышали отъ Добролюбова, все это является только варьяціями (иногда почти дословными) на темы изъ Бокля; но, во всякомъ случаѣ, казалось бы, Писаревъ уже твердо стоитъ на детерминистической точкѣ зрѣнія Но оказалось, что на этой точкѣ зрѣнія Писаревъ стоялъ весьма не твердо и въ продолженіе послѣдующихъ шести лѣтъ не разъ мѣнялъ свои воззрѣнія на роль личности въ исторіи. То онъ попрежнему излагаетъ теорію послѣдовательнаго детерминизма и находитъ, что объектъ исторіи—жизнь массы, а личность играетъ побочную роль (III, 111—115; 1864 г.), такъ что прогрессъ совершается «не по произволу отдѣльныхъ личностей, а по общимъ и неизмѣннымъ законамъ природы» (V, 500; 1865 г.); то онъ впадаетъ въ противоположную крайность, утверждая, что борьба императоровъ съ папами была порождена не общими условіями, а личностью Гильдебранда, причемъ личность эта была не только поводомъ, но и самой причиной борьбы: если бы въ XI вѣкѣ на свѣтѣ не было «геніальнаго фанатика» и «великаго государственнаго человѣка» Гильдебранда, то „вся исторія европейской цивилизаціи могла вылиться въ другую, неизвѣстную намъ форму" (VI, 98—99; 1867 г.). Правда, Писаревъ оговаривается, что отсюда не слѣдуетъ, будто реформацію сдѣлалъ Лютеръ, а французскую революцію—Мирабо: личность Гильдебранда вполнѣ исключительна по той

роли, которую она играла въ событіяхъ; пусть такъ, но исключеніе подтверждаетъ правило только въ грамматикахъ, такъ что своимъ утвержденіемъ Писаревъ низводилъ исторію на степень свода фактовъ, придавалъ личности громадное значеніе въ исторіи и держался, хотя бы отчасти, теоріи „героевъ". Однако, не прошло и года, какъ Писаревъ снова вернулся къ своимъ прежнимъ взглядамъ на роль личности, утверждая, что никакая геніальная личность не можетъ свернуть въ сторону естественное теченіе историческихъ событій" (VI, 382; 1867). Однимъ словомъ, видно, что взгляды Писаревъ на этотъ вопросъ были еще вполнѣ неустановленными; свою наиболѣе задушевную точку зрѣнія онъ высказалъ, между прочимъ, въ статьѣ о романахъ Помяловскаго („Романъ кисейной барышни", 1865 г.): признавая полнѣйшій детерминизмъ историческихъ и общественныхъ явленій, онъ утверждаетъ, однако, что „сознавать необходимость всѣхъ явленій, совершающихся въ природѣ, совсѣмъ не значитъ складывать руки и погружаться въ факирское созерцаніе", ибо „я — также явленіе: и если *я* чего-нибудь хочетъ, ищетъ, домогается, то зачѣмъ же стѣснять его естественныя стремленія?" (IV, 253).

Все это показываетъ, однако, что общее міровоззрѣніе Писарева значительно видоизмѣнилось за эти годы; исчезъ наивный и воинствующій эгоизмъ, исчезло стремленіе къ наслажденію, какъ къ единственной жизненной задачѣ: прежде „я" заслоняло собою у Писарева цѣлый міръ, теперь, какъ мы только-что слышали отъ него, „я—*также* явленіе", и это „также" очень характерно. Всѣ новые взгляды Писарева вылились наиболѣе ярко и рельефно въ знаменитой статьѣ „Реалисты" (1864 г.; она же „Нерѣшенный вопросъ").

VII.

Въ „Реалистахъ“ мы при желаніи можемъ найти непочатый край противорѣчій всѣмъ прежнимъ взглядамъ Писарева, выраженнымъ въ „Идеализмѣ Платона“, въ „Схоластикѣ XIX вѣка“ и въ „Базаровѣ“; противорѣчія тѣмъ болѣе ясны, что вся первая половина „Реалистовъ“ посвящена новой и болѣе подробной характеристикѣ того же Базарова. Мы прослѣдимъ за всѣми этими взглядами Писарева, временно оставляя въ сторонѣ только его эстетическія воззрѣнія. Теперь Базаровъ для Писарева является представителемъ типа „мыслящаго реалиста“, и обрисовкѣ, опредѣленію этого типа посвящена вся статья Писарева.

Мыслящій реалистъ—это человѣкъ, пытающійся синтезировать личность съ обществомъ, личную пользу съ общественной. Реализмомъ Писаревъ называетъ „вполнѣ послѣдовательное стремленіе къ пользѣ“ и подчеркиваетъ, что слово „польза“ понимается имъ въ весьма широкомъ смыслѣ (IV, 16, 95). Польза добывается исключительно трудомъ, ergo—„реалистъ—мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ“ (IV, 68); то, что онъ занимается *трудомъ*,—приноситъ пользу обществу, а то, что онъ занимается имъ *съ любовью*,—доставляетъ удовлетвореніе ему самому. Трудъ—единственный элементъ жизни, дѣлающій ее достойной; природа—мастерская и человѣкъ работникъ,—эти слова Базарова Писаревъ повторяетъ съ особеннымъ удовольствіемъ и прибавляетъ къ нимъ: „да, жизнь есть постоянный трудъ, и только тотъ понимаетъ ее вполнѣ по-человѣчески, кто смотритъ на нее съ этой точки зрѣнія“ (IV, 5, 123). Но трудъ этотъ не долженъ быть отреченіемъ отъ личности, онъ долженъ быть исполняемымъ „съ лю-

бовью“ (см. еще IV, 67), хотя несомнѣнно, что во время труда человѣкъ „принадлежитъ обществу“, и только во время отдыха — самому себѣ (IV, 7).

Съ какимъ ужасомъ отнесся бы къ такимъ еретическимъ взглядамъ самъ Писаревъ двумя годами ранѣе, когда, по его мнѣнію, цѣлью всякаго усилія было только возможно большее количество наслажденій, въ чемъ была альфа и омега всякой разумной дѣятельности (I, 263)! Теперь же, спустившись съ необитаемыхъ вершинъ ультра-индивидуализма, Писаревъ считаетъ такой трудъ для личнаго удовольствія — „мартышкинымъ трудомъ“, а людей, проповѣдующихъ его, называетъ неизлѣчимо-больными. Не менѣе рѣзко отрицаетъ онъ и прежнюю свою точку зрѣнія о томъ, что жизнь есть процессъ безъ цѣли, что общій идеалъ такъ же невозможенъ, какъ и общія очки; для мыслящаго реалиста общій идеалъ и цѣль, несомнѣнно, существуютъ, даже болѣе того: они главнымъ образомъ характеризуютъ мыслящаго реалиста и наличность ихъ позволяетъ намъ отличить мыслящаго реалиста отъ „эстетика“ (объ этомъ типѣ — послѣ). „...Именно существованіе этой высшей руководящей идеи у послѣдовательнаго реалиста и отсутствіе такой идеи у эстетика составляетъ основное различіе между этими двумя группами людей. Какая же это идея? Это — идея общей пользы или общечеловѣческой солидарности“ (IV, 63). Поступать на основаніи принципа *потому, что мнѣ нравится*, — можетъ только „эстетикъ“ (такимъ эстетикомъ, очевидно, былъ Писаревъ въ эпоху написанія „Базарова“); мыслящій же реалистъ оказывается несомнѣннымъ „идеалистомъ“: только тогда его трудъ „вознаграждаетъ личность“, когда онъ направленъ къ разумной цѣли и достигаетъ ея“ (IV, 70); „безцѣльное наслажденіе жизнью, наукой, искусствомъ“ оказывается „невозможнымъ“ (IV, 123). Жизнь должна быть „построена

на идеѣ" общечеловѣческой солидарности (IV, 64, 65; какія „идеалистическія" выраженія!), а „конечная цѣль всего нашего мышленія" должна заключаться въ разрѣшеніи вопроса „о голодныхъ и раздѣтыхъ" (IV, 109). Чтобы разрѣшить этотъ вопросъ возможно скорѣе, мыслящій реалистъ долженъ стремиться къ „экономіи умственныхъ силъ", а это и есть „не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ". Въ проповѣди такой экономіи—вся задача литературы (IV, 5).

Таковъ типъ мыслящаго реалиста. Познакомившись съ нимъ, мы можемъ заключить, что, покинувъ безплодныя выси ультра-индивидуализма, Писаревъ сталъ, наконецъ, на твердую почву; онъ понялъ, что личность и общество не исключаютъ, а взаимно дополняютъ другъ друга. Прежній наивный эгоизмъ и эгоцентризмъ Писарева канулъ въ Лету; теперь онъ даже не можетъ понять, какимъ образомъ самый широкій, геніальный человѣкъ (напримѣръ, Гете) можетъ чувствовать себя удовлетвореннымъ въ узкихъ границахъ своего *я*: „какъ могъ онъ (Гете), при своемъ громадномъ умѣ, предпочитать узкій міръ своихъ личныхъ ощущеній широкому міру волнующейся жизни человѣчества?..." (IV, 44). Теперь Писаревъ настолько увлеченъ новой точкой зрѣнія, что готовъ даже впасть въ другую крайность и признать общество организмомъ (IV, 359), на что онъ такъ рѣзко нападалъ въ своихъ статьяхъ 1861 г.; впрочемъ, это только мимолетное признаніе, изъ котораго Писаревъ не дѣлаетъ дальнѣйшихъ логическихъ выводовъ, хотя и говоритъ, что *весь* принадлежитъ тому обществу, которое его сформировало (IV, 123). Но всѣ такія единичныя мѣста ничего не доказываютъ; общая же тенденція Писарева къ эманципаціи личности осталась прежней: она только умѣрилась введеніемъ новаго фактора—*признаніемъ*

необходимости общаго идеала, что по необходимости и строго логично привело къ синтезированію началъ личнаго и общественнаго. Поэтому *мыслящій реалистъ* и является представителемъ *индивидуализма* (мы пока оставляемъ въ сторонѣ его эстетическія воззрѣнія).

Но какимъ образомъ мыслящій реалистъ можетъ служить общему идеалу, т.-е. способствовать разрѣшенію вопроса о голодныхъ и раздѣтыхъ? Въ этомъ пунктѣ Писаревъ не удержался на уровнѣ индивидуализма и предложилъ рецептъ, сильно приближающій его теорію къ такъ ненавидимому имъ мѣщанству. Это непріятное сосѣдство фатальнымъ образомъ преслѣдовало Писарева во всѣхъ періодахъ его литературной дѣятельности. Въ эпоху своего воинствующаго, юношескаго эгоизма и ультра-индивидуализма Писаревъ, какъ мы это уже отмѣтили, проповѣдывалъ *теорію самосовершенствованія*, а это во всѣхъ отношеніяхъ опасная теорія. Кто говоритъ, самосовершенствованіе —дѣло почтенное, не менѣе заслуживающее уваженія, чѣмъ умѣренность и аккуратность, но вотъ въ чемъ бѣда: и то, и другое, и третье — только, такъ сказать „пограничныя“ добродѣтели. Въ большомъ количествѣ—это вещь нестерпимая, равно какъ и въ единственномъ числѣ. Умѣренность и аккуратность—это „добродѣтели второго порядка“; поставленныя во главу угла, онѣ обращаются въ полнѣйшее, безпросвѣтное мѣщанство; недаромъ Салтыковъ сообщаетъ, что Умѣренность и Аккуратность — двѣ бобылки, живущія на задворкахъ у добродѣтелей и въ близкомъ сосѣдствѣ съ пороками („Сказки“). Великій сатирикъ напрасно не прибавилъ къ нимъ еще Самосовершенствованія. Самосовершенствованіе, положенное во главу угла, обращается въ ультра-индивидуализмъ, граничащій съ мѣщанствомъ; въ этомъ мы убѣдимся, когда перейдемъ къ эпохѣ общественнаго мѣщанства.

Теорія самосовершенствованія, какъ цѣль, и наивный эгоизмъ приближали Писарева (1860—1862 гг.) къ столь ненавидимому имъ мѣщанству. Отъ наивнаго эгоизма ему удалось освободиться, но теорія самосовершенствованія перешла и въ новое его міровоззрѣніе подъ нѣсколько инымъ видомъ, а именно — подъ видомъ теоріи *кружковщины*: это было отвѣтомъ на вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ. Мы бѣдны и мы глупы, утверждаетъ Писаревъ, но въ этомъ только полгоря, а бѣда въ томъ, что „мы бѣдны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бѣдны“ (IV, 4). Чтобы избавиться отъ бѣдности, надо экономизировать умственныя силы; чтобы избавиться отъ глупости, надо распространять знанія. Но *какъ* распространять? — вотъ въ чемъ вопросъ (IV, 128). Что полезнѣе — одинъ университетъ или сотня народныхъ школъ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, Писаревъ приписываетъ личности гораздо больше значенія, чѣмъ она имѣетъ на дѣлѣ: мы видѣли, что въ своихъ историческихъ взглядахъ онъ часто колебался, переходилъ отъ теоріи „толпы“ къ теоріи „героевъ“; въ данномъ же случаѣ онъ цѣликомъ стоялъ на второй точкѣ зрѣнія. „Судьба народа рѣшается не въ народныхъ школахъ, а въ университетахъ“, утверждаетъ онъ (IV, 132); народъ выучится самоучкой и будетъ въ такомъ случаѣ гораздо богаче знаніемъ (хотя бы качественно, а не количественно), какъ человѣкъ, самъ заработавшій тысячу рублей, богаче того, которому вы подарили двѣ тысячи. Дѣло не въ народѣ, а въ интеллигенціи, которая рѣшаетъ судьбы народа: надо, чтобы въ ней „усилился запросъ на умственную дѣятельность“, чтобы въ ней увеличилось „число мыслящихъ людей“. Итакъ, увеличеніе числа мыслящихъ реалистовъ — вотъ въ чемъ задача: „въ этомъ альфа и омега общественнаго прогресса“, а увеличить число мыслящихъ реа-

листовъ можно только путемъ совершенствованія, перенесеннаго съ личности на кружокъ. Распространять знанія надо кружками для самообразованія: каждый долженъ вліять и дѣйствовать въ томъ кружкѣ, въ которомъ онъ живетъ. „Учитесь сами и вовлекайте въ сферу вашихъ умственныхъ занятій вашихъ братьевъ, сестеръ, родственниковъ, товарищей“.. Такая дѣятельность увеличитъ число мыслящихъ реалистовъ, а когда ихъ будетъ много, они съумѣютъ рѣшить вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ (IV, 130).

Итакъ, Писаревъ полагаетъ рѣшить соціальный вопросъ созданіемъ мыслящаго пролетаріата. Такая проповѣдь воочію обнаруживаетъ глубочайшую вѣру во всесиліе интеллигенціи („судьбы народа рѣшаются въ университетахъ“—этого не говорилъ впослѣдствіи даже авторъ теоріи критически-мыслящихъ личностей!); интеллигентный пролетаріатъ держитъ въ своихъ рукахъ судьбу многомилліоннаго народа: вѣдь, это въ своемъ родѣ признаніе громадной исторической роли личности. Конечно теорія всесилія интеллигенціи не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, но все-таки только эта теорія спасла Писарева отъ погруженія въ бездны мѣщанства, этимъ онъ различается отъ восьмидесятниковъ, во многомъ повторившихъ его положенія. Дѣйствительно, восьмидесятники также ставили на первый планъ саморазвитіе и самосовершенствованіе, проповѣдывали теорію малыхъ дѣлъ,—и были потому безнадежными мѣщанами: теорія малыхъ дѣлъ давила собою всѣ ихъ идеалы, вѣры въ свои силы у нихъ не было. Писаревъ граничитъ съ мѣщанствомъ въ своей проповѣди всеспасительнаго самосовершенствованія; въ ней также видна теорія малыхъ дѣлъ (дѣятельность внутри кружка Писаревъ согласенъ считать скромной и мизерной, хотя и полезной); но разница въ

томъ, что теорію малыхъ дѣлъ онъ не ставитъ во главу угла своего міровоззрѣнія. Онъ вѣритъ въ силы интеллигентнаго пролетаріата: подождите немного, говоритъ онъ, экономизируйте временно силы, дайте сформироваться большому числу мыслящихъ реалистовъ, и тогда... тогда рѣшится судьба народа, тогда будутъ одѣты и накормлены раздѣтые и голодные. Интеллигенція безсильна, говорили восьмидесятники, и единственное, что намъ остается,— это дѣлаться лучше, совершенствоваться, идти въ чиновники и становиться болѣе полезными народу; это была теорія малыхъ дѣлъ, доминирующая надъ всѣмъ міровоззрѣніемъ. Писаревъ преувеличивалъ значеніе интеллигенціи, но эта ошибка позволяла ему считать теорію малыхъ дѣлъ только *временнымъ* факторомъ; восьмидесятники уменьшали роль интеллигенціи, а потому и впали въ мѣщанство, считая теорію малыхъ дѣлъ единственной и *абсолютной* панацеей. Впрочемъ, о восьмидесятникахъ рѣчь будетъ въ своемъ мѣстѣ; теперь дѣло только въ томъ, что хотя теоріи Писарева и граничили съ мѣщанствомъ, но не совпадали съ нимъ. Писарева спасла ошибочная мысль о громадномъ значеніи интеллигентнаго пролетаріата; впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что если бы онъ увидѣлъ ошибочность этой мысли, то и въ такомъ случаѣ онъ сумѣлъ бы уклониться отъ мѣщанства, въ сосѣдствѣ съ которымъ онъ очутился совершенно противъ своей воли и противъ всякаго ожиданія. Но, во всякомъ случаѣ, между нимъ и мѣщанствомъ лежитъ непроходимая пропасть; основная мысль Писарева — *приматъ индивидуальной нравственности надъ соціальными идеалами*, получившая такое развитіе въ писаревщинѣ („какъ жить свято?“) — никогда не была съ такой широтой и горячей убѣжденностью развита въ мѣщанствѣ.

Дальше идей, высказанныхъ въ „Реалистахъ“.

Писаревъ не пошелъ; большинство наиболѣе замѣчательныхъ дальнѣйшихъ статей (1865 г.) были посвящены разработкѣ вопроса объ эстетикѣ. На чемъ остановился бы онъ, если бы жизнь его не была такъ внезапно прервана,—вопросъ праздный; но, оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, что могло быть, мы перейдемъ къ тому, что было: мы не коснулись еще одной изъ главнѣйшихъ сторонъ міровоззрѣнія Писарева—его отношенія къ искусству, къ эстетикѣ.

VIII.

Эстетическія воззрѣнія Писарева испытали на себѣ ту же эволюцію (съ точки перелома въ 1864 г.), какую мы видѣли въ его взглядахъ на личность и общество. Въ періодъ своего ультра-индивидуализма Писаревъ относился къ вопросамъ о наукѣ и искусствѣ весьма широко, а потому и наиболѣе правильно, хотя онъ и смотрѣлъ на искусство и науку съ точки зрѣнія своего личнаго наслажденія. Онъ требуетъ полной свободы художника для выбора и обработки сюжета (I. 355), хотя въ то же самое время требуетъ демократизаціи науки и искусства: надо, чтобы онѣ были доступны массѣ, а не спеціалистамъ, ибо „не люди существуютъ для науки и искусства“, а наука и искусство для людей (I, 366—367). Можно наслаждаться и Фетомъ, и Полонскимъ, но нельзя не признать, что болѣе замѣчательный и болѣе широкій поэтъ откликнулся бы на интересы своей эпохи (I, 398; все это—изъ „Схоластики XIX вѣка“). Крайніе взгляды на искусство Писаревъ считаетъ узостью; по его мнѣнію (1862 г.), Базаровъ „завирается“, отрицая поэзію, музыку, наслажденіе природой; если Базаровъ не имѣетъ эстетическихъ эмоцій, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ право

отрицать наличность такихъ эмоцій въ другихъ. „выкраивать людей на одну мѣрку съ собой, значитъ впадать въ узкій умственный деспотизмъ". Базаровъ отрицаетъ искусство, потому что онъ человѣкъ односторонній, „крайне необразованный", привыкшій безапелляціонно судить обо всемъ сплеча. Природа—мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ,—съ этой мыслью Писаревъ готовъ согласиться (хотя и совершенно непослѣдовательно, ибо мысль эта расходится съ общими взглядами Писарева въ 1861—62 гг.); но, даже соглашаясь съ этой мыслью, Писаревъ не можетъ согласиться съ дальнѣйшими выводами Базарова. Пусть человѣкъ работникъ,—но работнику надо отдыхать, надо наслаждаться; а что, если ему доставляетъ наслажденіе переливъ контуровъ и красокъ, свѣжая зелень, красоты природы? „Сказать человѣку: не наслаждайся природой—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть" (II, 398—402).

Это была вполнѣ индивидуалистическая точка зрѣнія, не впадающая въ крайность; если бы Писаревъ остался при ней, строя свою теорію синтеза личности съ обществомъ и выясняя типъ мыслящаго реалиста, то въ такомъ случаѣ его міросозерцаніе позднѣйшихъ лѣтъ было бы болѣе гармоничнымъ. Но удержаться на этой точкѣ зрѣнія онъ не могъ: стремительно совершивъ въ теченіе одного года (1863) путь отъ ультра-индивидуализма къ индивидуализму въ соціологической части своей теоріи, онъ совершенно непроизвольно и не менѣе стремительно перешелъ отъ индивидуализма къ анти-индивидуализму въ области эстетики. Онъ произвелъ то „разрушеніе эстетики", „честь" котораго онъ хотѣлъ приписать автору „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности"; мы уже видѣли, что первый толчекъ былъ дѣйствительно данъ Черны-

шевскимъ, но главная роль „разрушителя" всецѣло должна быть удержана за Писаревымъ.

Свою новую точку зрѣнія Писаревъ наиболѣе подробно выяснилъ въ „Реалистахъ", а впослѣдствіи только дополнилъ въ „Прогулкѣ по садамъ россійской словесности" и въ „Посмотримъ!" (обѣ—1865 г.). Писаревъ начинаетъ съ того, что совершенно отрицаетъ тотъ крайній субъективистическій критерій оцѣнки произведеній искусства, который принимался имъ прежде безусловно. Мы помнимъ, что единственнымъ эстетическимъ критеріемъ для Писарева было личное впечатлѣніе (I, 359); теперь онъ энергично открещивается отъ такого взгляда. „Взглянулъ, понравилось—ну, значитъ, хорошо, прекрасно, изящно. Взглянулъ, не понравилось—кончено дѣло: скверно, отвратительно, безобразно": такіе приговоры Писаревъ считаетъ пошлыми. Мыслящій реалистъ долженъ сначала узнать, „что за штука это *я*, такъ отважно произносящее свои рѣшительные приговоры" (IV, 59, 63; см. еще 513—516). Очевидно, и здѣсь дѣло сводится къ необходимости имѣть нѣкоторый „общій идеалъ", который обусловливалъ бы собою опредѣленный критерій; такимъ общимъ идеаломъ для мыслящаго реалиста является, какъ мы знаемъ, „идея общей пользы или общечеловѣческой солидарности" (IV, 63). И вотъ эта-то идея общей пользы и заставляетъ Писарева не только не признавать какого-либо эстетическаго критерія, но и совершенно отрицать всю эстетику. Эстетическія эмоціи должны быть уничтожены на основаніи этическихъ соображеній: вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ заслоняетъ собою искусство; только филистеръ и эстетикъ посмѣетъ сказать: „пускай бѣднота голодаетъ и зябнетъ; моя потребность наслаждаться искусствомъ нормальна и законна" (V, 195)... Нѣтъ, „долой эстетику!" (это новый кличъ и новый девизъ Писарева), долой тѣ

стороны культуры и прогресса, которыя не отвѣчаютъ на главные вопросы: „*Какъ* накормить голодныхъ людей? *какъ* обезпечить всѣхъ вообще?“ (V, 199); долой тѣ стороны прогресса, которыя не отвѣчаютъ „общему идеалу“ — идеалу общей пользы!

Итакъ, долой всю эстетику! Эстетика, безотчетность, рутина, привычка — это все синонимы (IV, 61). И Писаревъ ведетъ атаку на эстетику одновременно съ самыхъ разныхъ сторонъ: этическія соображенія — это его тяжелая артиллерія, чаще же онъ пользуется вылазками противъ абсолютныхъ нормъ эстетики — и въ этомъ его существеннѣйшая ошибка. Конечно, опровергать всѣ ошибки Писарева въ настоящее время — довольно праздное занятіе, но на указанную выше ошибку мы обращаемъ вниманіе потому, что нѣкоторые впадаютъ въ нее и до настоящаго дня. Писаревъ побиваетъ эстетику тѣмъ, что она якобы считаетъ себя постоянной величиной, стремящейся въ одной теоріи примирить взгляды всѣхъ людей, между тѣмъ какъ „у каждаго отдѣльнаго человѣка образуется своя собственная эстетика, и, слѣдовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможной“ (IV, 499). Эстетика для Писарева — это „наука о томъ, какъ и чѣмъ должно наслаждаться“ (IV, 501), а такая наука — несомнѣнная безсмыслица, и эту безсмыслицу Писаревъ разоблачаетъ вполнѣ побѣдоносно: какъ наслаждаться и чѣмъ наслаждаться — это вполнѣ дѣло личнаго вкуса, и въ этомъ случаѣ Писаревъ твердо стоитъ на своей старой точкѣ зрѣнія. Побѣду надъ *такой* эстетикой мы готовы ему уступить, не проливъ ни одной капли чернилъ; но дѣло мѣняется, когда, безсознательно предвосхищая теорію типовъ и степеней Михайловскаго, Писаревъ доказываетъ, что нѣтъ критерія, который могъ бы доказать, что „Ванька-Танька“ ниже симфоніи Бет-

ховена (V, 173—8). Нѣтъ критерія — значитъ, дѣло сводится опять къ личному вкусу и опять Писаревъ впадаетъ въ „эстетизмъ“!

Его ошибка по отношенію къ эстетикѣ въ томъ же, въ чемъ была ошибка по отношенію къ этикѣ и утилитаристовъ-шестидесятниковъ и, въ особенности, фетишистовъ необходимости — девятидесятниковъ: они отрицали общеобязательныя этическія нормы, основываясь на различіи и измѣненіи этихъ нормъ въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ. Это — грубая ошибка. Системы морали подчиняются въ своемъ развитіи категоріямъ времени и пространства, такъ же какъ и научныя системы, но научная и этическая правда, правда-истина и правда-справедливость — едины. Это почти дословно приложимо и къ эстетикѣ, а потому писаревская аргументація отъ личнаго вкуса ничего не доказываетъ. Его отрицательныя отношенія къ музыкѣ, живописи и т. п. — совершенно субъективны: эти искусства *ему* не нравятся, *слѣдовательно*, ихъ можно вычеркнуть изъ общечеловѣческаго обихода. Онъ самъ говоритъ о пластическихъ и тоническихъ искусствахъ: „я чувствую къ нимъ глубочайшее равнодушіе“. „Великій Бетховенъ“, „великій Рафаэль“ для него то же самое, что „великій поваръ Дюссо“ и „великій маркеръ Тюря“ (IV, 120 — 1). Поэзію онъ готовъ признать, но только „истинную“: тотъ поэтъ, кто пишетъ кровью сердца и сокомъ нервовъ, кто безпредѣльно любитъ и глубоко ненавидитъ (IV, 97—8): поэтому Гейне, Гете, Шекспиръ—поэты, а Пушкина можно смѣло поставить на полку и задернуть траурной тафтой (IV, 110 и 367—8). Въ этомъ критеріи сказывается общій идеалъ: кто пишетъ кровью сердца и сокомъ нервовъ, тотъ, несомнѣнно, приноситъ дѣйствительную пользу (IV, 95 и сл.): на почвѣ этого же общаго идеала Писаревъ

пытается обосновать и свое отрицательное отношеніе къ другимъ искусствамъ, сознавая, что его личное „глубочайшее равнодушіе“ къ нимъ—еще не аргументъ. Пластическія и тоническія искусства безполезны, а потому и подлежатъ осужденію, равно какъ и эстетическое смакованіе красотъ природы и т. д. Свою прежнюю точку зрѣнія, по которой эстетическія эмоціи законны, какъ отдыхъ отъ труда, какъ наслажденіе, Писаревъ считаетъ ошибочной и находитъ ошибку въ томъ, что *трудъ* онъ противопоставлялъ *наслажденію*, между тѣмъ какъ нужно стремиться къ тому, чтобы въ нашей личной жизни трудъ и наслажденіе сдѣлались синонимами (V, 204).

И къ такимъ взглядамъ могъ придти убѣжденный индивидуалистъ, проповѣдникъ полной эмансипаціи личности! И Писаревъ не видѣлъ, что въ своемъ отношеніи къ эстетикѣ онъ рѣзко противорѣчитъ всѣмъ своимъ завѣтнѣйшимъ взглядамъ и убѣжденіямъ! Какъ примирялъ онъ свой индивидуализмъ со своей узостью въ вопросахъ искусства? Въ томъ-то и дѣло, что онъ не видѣлъ и не могъ видѣть своего противорѣчія; наоборотъ, онъ считалъ себя вполнѣ послѣдовательнымъ и логичнымъ: онъ полагалъ, что, разрушая эстетику, онъ тѣмъ самымъ способствуетъ освобожденію личности. Прежде онъ считалъ, что личность угнетена общими идеалами, принципами, теоріями, итакъ — долой теоріи, долой идеалы! Теперь онъ доказываетъ, что эстетика это именно тѣ путы, которыя больше всего связываютъ личность! итакъ— долой эстетику! Но доказать, что эстетика угнетаетъ личность, можно было только приложеніемъ якобы этическаго критерія къ эстетикѣ —и Писаревъ сдѣлалъ это, идя далѣе по пути, намѣченному Чернышевскимъ и наполовину пройденному Добролюбовымъ. Писаревъ только дошелъ до

послѣдней точки этого пути и явился истиннымъ „разрушителемъ эстетики".

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что этимъ своимъ эстетическимъ анти-индивидуализмомъ Писаревъ впалъ въ коренное противорѣчіе съ самимъ собою. Эстетика должна быть упразднена, потому что этого требуетъ этическій критерій „общей пользы", независимо отъ желанія отдѣльныхъ личностей. Писаревъ „освобождалъ" отъ эстетики тѣмъ же путемъ, какимъ во время оно ярые республиканцы приводили несогласно мыслящихъ къ своему символу вѣры. „Liberté, égalité, fraternité ... ou la mort".—такова эта нѣсколько неожиданная аргументація (надъ которою такъ зло смѣялся Достоевскій), носящая въ себѣ самой ферментъ разложенія, разъѣдающее противорѣчіе: хороши эти свобода и братство, которыя проповѣдуются угрозою казни всѣмъ несогласно мыслящимъ! Въ томъ же противорѣчіи запутался и Писаревъ съ двумя своими девизами: „эмансипація личности" и „долой эстетику!"—во имя общей пользы. Хороша проповѣдь свободы личности, если эта свобода должна быть достигнута кастраціей этой же личности!

Итакъ, вотъ два коренныхъ противорѣчія Писарева: во-первыхъ, столкновеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ утилитаризма, и, во-вторыхъ, столкновеніе соціологическаго индивидуализма съ эстетическимъ анти-индивидуализмомъ.

Противорѣчій своихъ Писаревъ не примирилъ; они еще болѣе обострились въ писаревщинѣ, ясно показавшей, что нужно новое и цѣльное міровоззрѣніе, чтобы выбраться изъ этой мертвой зыби индивидуализма и анти-индивидуализма, которая составляетъ характернѣйшій признакъ бурной эпохи шестидесятыхъ годовъ. Въ этой мертвой зыби Писаревъ потонулъ гораздо раньше, чѣмъ въ волнахъ Балтій-

скаго моря; по крайней мѣрѣ, полную безличность его статей 1866—1868 гг. мы объясняемъ главнымъ образомъ его сознаніемъ (а можетъ быть и полусознаннымъ чутьемъ) совершенной непригодности своего міросозерцанія... Не споримъ, быть можетъ, тюремное заключеніе и громадный трудъ отчасти подорвали силы Писарева, и онъ, какъ говорятъ, „исписался"; но можно было бы доказать подробнымъ анализомъ произведеній Писарева за два послѣднихъ года его жизни, что въ нихъ видна главнымъ образомъ его растерянность предъ возникающими новыми вопросами. Онъ вдругъ оказался безъ критерія въ рукахъ; онъ какъ бы увидѣлъ всю бездну противорѣчій, которая заключалась между его отношеніемъ къ наукѣ и искусству и его требованіемъ эмансипаціи личности, между его выставленіемъ впередъ личности и утилитарной моралью; эта мертвая зыбь не давала возможности спасенія. Нужно было или выработать новое, цѣльное міросозерцаніе,—а этого не могъ уже сдѣлать Писаревъ, или идти по прежней дорогѣ, не обращая вниманія на противорѣчія и доводя свои взгляды до абсурда, какъ это было въ писаревщинѣ, въ нигилизмѣ, —но Писаревъ былъ слишкомъ даровитъ, чтобы сдѣлаться писаревцемъ; онъ былъ мыслящимъ реалистомъ, а не нигилистомъ (хотя и не различалъ этихъ терминовъ). Изъ мертвой зыби индивидуализма и анти-индивидуализма Писареву не было спасенія. И онъ утонулъ.

Нигилизмъ.

I.

Писаревщина попыталась избѣжать неизбѣжнаго пересмотра всего міровоззрѣнія шестидесятыхъ годовъ и идти далѣе по пути, на которомъ погибъ Писаревъ; конечно, попытка эта была обречена на неизбѣжное крушеніе. Это не помѣшало значительной группѣ русской интеллигенціи увлечься писаревщиной и стать представительницей теченія, выродившагося впослѣдствіи въ такъ называемый нигилизмъ. Писаревщиной и нигилизмомъ окрашена вся вторая половина эпохи шестидесятыхъ годовъ. Чтобы закончить наше знакомство съ этой эпохой и подвести затѣмъ общій итогъ всѣмъ полученнымъ результатамъ, намъ необходимо ближе познакомиться съ „мыслящими реалистами“ и ихъ эпигонами, представителями нигилизма.

„Страшное дѣло строиться въ пустынѣ,—говорилъ о шестидесятыхъ годахъ Михайловскій:—сколько предстоитъ блужданій, напрасной траты силъ, сколько риску и опасностей“! Въ началѣ этой эпохи Чернышевскій, казалось, стоялъ на твердой почвѣ и на вѣрномъ пути, но самъ же онъ внесъ и ферментъ разложенія въ міровоззрѣніе эпохи, сталкивая другъ съ другомъ соціологическій индивидуализмъ и этическій анти-индивидуализмъ. Соціалистическое теченіе не захватило въ то время всю

русскую интеллигенцію, расколовшуюся тогда на три группы; расколъ этотъ ознаменовался полемикой „Русскаго Слова“ съ „Современникомъ“ и „Современника“ съ западниками-либералами. Въ эту эпоху и принялось пущенное Тургеневымъ словцо (встрѣчавшееся гораздо раньше): „нигилизмъ“ и „нигилисты“ вошли въ разговорную рѣчь послѣ появленія „Отцовъ и дѣтей“, написанныхъ въ 1861 году.

Подъ нигилизмомъ понимали и понимаютъ крайности отрицательнаго направленія, проявившагося въ эпоху всеобщей ломки старыхъ и узкихъ рамокъ; но явленіе это въ разныя времена шестидесятыхъ годовъ имѣло совершенно разную окраску. Былъ „нигилизмъ“ и до 1861 г.: тогда этимъ словомъ крѣпостники и реакціонеры клеймили передовую часть русской молодежи; всякій скептицизмъ назывался нигилизмомъ, надъ чѣмъ еще въ 1858 г. ядовито смѣялся Добролюбовъ (см. Сочин., I, 531). Конечно, нелѣпо прилагать къ этимъ людямъ, во главѣ которыхъ стояли Чернышевскій и Добролюбовъ, вполнѣ произвольную кличку „нигилистовъ“; весь ихъ нигилизмъ заключался въ томъ, что они и въ области мысли, и въ области чувства были безусловно сильными людьми; они имѣли поэтому право цѣнить чрезвычайно высоко „тьмы низкихъ истинъ“ и настолько же презрительно относиться ко всякому „возвышающему обману“. Этимъ объясняется и ихъ рѣзкое отношеніе къ общественнымъ недугамъ, желаніе не залѣчивать, а радикально вылѣчивать ихъ; вотъ почему и крестьянскій вопросъ былъ поставленъ такъ ребромъ; вотъ почему и естественныя науки послужили средствомъ разрушенія тѣхъ или иныхъ возвышающихъ душу обмановъ.

На смѣну этому авангарду русскихъ шестидесятниковъ, сдѣлавшему громадное дѣло освобожденія людей отъ рабства и эпохи отъ мѣщанства, явились

новые люди, не менѣе сильные, но менѣе счастливые: явился Писаревъ, явились Базаровы, Лопуховы, Кирсановы, Рахметовы, явились Череванины: разночинецъ выступилъ сплоченной массой на историческую сцену и воплотился въ «мыслящаго реалиста». Это были люди менѣе счастливые, такъ какъ имъ было суждено потонуть въ мертвой зыби своей эпохи и къ концу ея выродиться въ представителей нигилизма. Къ этому поколѣнію второй половины шестидесятыхъ годовъ, къ поколѣнію Базаровыхъ и Череваниныхъ впервые примѣнили en masse названіе нигилистовъ, съ легкой руки Тургенева; и, дѣйствительно, къ этому были уже нѣкоторыя основанія. У нихъ, во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ, впервые во всей своей силѣ сказался принципъ *жажды разрушенія* и разрушенія не только старыхъ, мѣщанскихъ формъ, но и отнюдь не мѣщанскаго содержанія. По мѣткимъ словамъ Писарева (въ «Схоластикѣ XIX вѣка»), вотъ каковы были основныя положенія партіи, къ которой причислялъ себя и Писаревъ, т.-е. группѣ, называвшейся нигилистической: «что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержитъ ударъ, то годится; что разлетится вдребезги, то хламъ: во всякомъ случаѣ, бей направо и налѣво, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть»... И Базаровъ, дѣйствительно, бьетъ и направо, и налѣво, одинаково отрицаетъ и эстетику, и принципы, и «...страшно вымолвить что»... На этомъ поколѣніи—и именно на типѣ Базарова—мы остановимся подробнѣе.

II.

Въ эпоху шестидесятыхъ годовъ, именно во вторую ихъ половину, Тургеневъ занялъ печальное положеніе ни павы, ни вороны между людьми сороко-

выхъ годовъ и шестидесятыхъ. Онъ слишкомъ былъ эстетикъ съ головы до ногъ, чтобы примкнуть къ Базаровымъ, и въ то же самое время онъ радикально разошелся съ западниками-либералами, вродѣ Павла Петровича (изъ «Отцовъ и дѣтей»). Также не могъ онъ сойтись во взглядахъ съ народничествомъ Герцена, и вообще въ эту эпоху онъ чувствовалъ себя вполнѣ лишнимъ человѣкомъ. Онъ былъ, подобно всѣмъ своимъ наиболѣе характернымъ героямъ, въ высокой степени слабый человѣкъ; это достаточно подтвердилось появленіемъ его знаменитаго «Довольно» (1864 г.) Интересно, что именно въ этой вещи онъ высказываетъ, что всякая доступная человѣку истина связываетъ намъ руки и замыкаетъ уста; возвышающій обманъ, конечно, пріятнѣе. Въ свободу человѣчества онъ не вѣрилъ (см. его „Necessitas-Vis-Libertas): суть жизни считалъ мелкой, неинтересной и пищенски-плоской, вообще мѣщанской (VII, 113), и въ этомъ отношеніи былъ соединительнымъ звеномъ между Лермонтовымъ и Чеховымъ; ко всякаго рода „героямъ" относился насмѣшливо: „герой мычитъ, какъ быкъ; зато двинетъ рогомъ—стѣны валятся" (II, 274). Послѣ этого обрисовка типа Базарова и его отношеніе къ этому типу заслуживаютъ всяческаго удивленія; очевидно, что Тургеневъ, дѣйствительно, въ очень многомъ былъ близокъ къ Базарову, совершенно чистосердечно заявляя, что, „за исключеніемъ воззрѣній на художества, я раздѣляю почти всѣ его убѣжденія" (XII, 95). Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что въ основѣ этой симпатіи лежитъ одинаково положительное отношеніе къ индивидуализму и Тургенева, и Базарова (какъ лица собирательнаго).

Тургеневъ никогда не высказывался достаточно подробно по вопросу объ индивидуализмѣ, но по всему можно заключить, что онъ ставилъ личность

не менѣе высоко, чѣмъ тѣ западники сороковыхъ годовъ, къ числу которыхъ онъ и самъ принадлежалъ. Онъ съ симпатіей говоритъ объ индивидуализмѣ Гете; даже примиреніе личности съ обществомъ (во второй части Фауста) кажется ему неправдоподобнымъ и принижающимъ личность. Гете, по его словамъ, „первый заступился за права—не человѣка вообще, нѣтъ—за права отдѣльнаго, страстнаго, ограниченнаго человѣка", иначе говоря—за права личности (XII, 231). Наконецъ, во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева проскальзываетъ его одинаково горячее отношеніе и къ человѣку, и къ личности: первое достаточно выразилось въ „Запискахъ охотника", второе наглядно проявилось въ типахъ лишнихъ людей, страдающихъ именно отъ своей неуравновѣшенности между „индивидуализмомъ" и „мѣщанствомъ".

Базаровъ—а съ нимъ и весь нигилизмъ второй половины шестидесятыхъ годовъ—несомнѣнно имѣетъ наклонность въ сторону индивидуализма: мы, впрочемъ, не будемъ называть Базарова и его единомышленниковъ нигилистами, хотя онъ себя такъ называетъ; этотъ терминъ гораздо болѣе подойдетъ къ поколѣнію конца шестидесятыхъ годовъ. Писаревъ назвалъ Базарова (также какъ и себя) „мыслящимъ реалистомъ"; это названіе мы и сохранимъ. Хотя Базаровъ и бьетъ направо-налѣво, но это еще не тотъ типичный нигилистъ, который явится нѣсколькими годами позже. Для него „нигилизмъ" прежде всего—критическая точка зрѣнія, отрицаніе авторитетовъ, какъ представителей принципа „magister dixit", отрицаніе принциповъ, какъ истинъ относительныхъ и требующихъ переоцѣнки. „Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы—говоритъ, между прочимъ, онъ:—подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ!" Въ этомъ онъ на три четверти

правъ, и не въ такомъ отрицаніи можно найти характерныя стороны нигилизма; правда, въ иныхъ вопросахъ Базаровъ, по инерціи отрицанія, выказываетъ себя до нѣкоторой степени „нигилистомъ“, но далеко не столь яркимъ, какіе появились впослѣдствіи. Онъ, напримѣръ, настолько „реалистъ“, что отказывается понимать абстракцію: „что такое наука—наука вообще? —вопрошаетъ онъ—есть науки, какъ есть ремесла, званія, а наука вообще не существуетъ вовсе“... Для него не существуетъ эстетики, для него порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта: но въ то же время онъ не опредѣляетъ (какъ это дѣлали потомъ типичные нигилисты) эстетическій принципъ, какъ „irritatio spinalis, возведенное въ перлъ созданія“... („Русское Слово“ 1864 г., № 1, стр. 29; статья В. Зайцева „Бѣлинскій и Добролюбовъ“). Итакъ, Базаровъ и его поколѣніе—не типичные нигилисты; если они безпощадно ломали все направо и налѣво, если они коренным образомъ отрицали многое, что было дорого предшествующимъ поколѣніямъ, то это въ нихъ кипѣла жизнь и былъ силъ избытокъ; еще за двадцать лѣтъ до нихъ Бѣлинскій глубоко вѣрно замѣтилъ, что „въ томъ то и состоитъ жизненность развитія, что послѣдующему поколѣнію есть что отрицать въ предшествовавшемъ“. Мыслящіе реалисты отрицали многое, но не впали изъ-за этого въ безжизненность; это случилось потомъ съ черезчуръ слѣпыми послѣдователями Писарева.

Интересна и глубоко типична въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ стычка Базарова съ Павломъ Петровичемъ, въ лицѣ котораго Тургеневъ почти высмѣялъ одного изъ представителей либеральнаго западническаго доктринерства. Павелъ Петровичъ—убѣжденный поклонникъ свободы человѣка; онъ даже думаетъ, что его глубоко интересуетъ человѣческая личность. „Лич-

ность, милостивый государь, — вотъ главное; человѣческая личность должна быть крѣпка, какъ скала, ибо на ней все строится", восклицаетъ онъ, хотя ему, англоману и либералу, въ сущности очень мало дѣла до свободы и крѣпости личности. (Нѣсколько неправдоподобно, что Тургеневъ заставилъ Павла Петровича стоять за общину, см. II. 57, такъ какъ община была bête noire всѣхъ западниковъ и англомановъ). Базаровъ, со всѣмъ своимъ отрицаніемъ, гораздо больше индивидуалистъ, чѣмъ этотъ отживающій обломокъ барствующаго либерализма; къ слову сказать, самый „нигилизмъ" Базаровъ считаетъ дѣтищемъ противодѣйствія либеральному доктринерству (см. II, 54—55). Индивидуализмъ его не выражается такъ рѣзко, какъ quasi-индивидуализмъ Павла Петровича; съ перваго взгляда онъ даже отрицательно относится къ самому понятію индивидуальности, ибо, по его мнѣнію, „всѣ люди другъ на друга похожи, какъ тѣломъ, такъ и душой... Достаточно одного человѣческаго экземпляра, чтобы судить обо всѣхъ другихъ. Люди, что деревья въ лѣсу: ни одинъ ботаникъ не станетъ заниматься каждою отдѣльною березой". Въ другой разъ онъ утверждаетъ, что природа не храмъ, а мастерская, въ которой человѣку отведена роль чернорабочаго, что этотъ взглядъ нѣсколько суживаетъ личность, — это понялъ и высказалъ еще Добролюбовъ, предвосхитившій и оспаривавшій мысль Базарова, какъ это мы отмѣтили выше.

Но все это мелочи, и только впослѣдствіи Базаровъ высказывается вполнѣ категорично о личности, опредѣляя свое отношеніе къ народу, къ мужику. Вполнѣ примыкая ко взглядамъ критическаго народничества, Базаровъ высказалъ, что ему важны *интересы*, а не *мнѣнія* народа (см. II, 53); но въ то же самое время онъ не согласенъ съ Аркадіемъ, что ради этихъ интересовъ „мы не имѣемъ права про-

даваться удовлетворенію личнаго эгоизма". Въ этомъ онъ видитъ чрезмѣрное ограниченіе правъ личности. Когда ему говорятъ, что онъ долженъ пожертвовать своей личностью во имя блага общества (хотя бы того же народа), то онъ совершенно искренне возмущается: „я возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ; ну, а дальше?" (II, 23—24, 27, 51—52, 87, 136 и др.). Въ этихъ словахъ мы слышимъ то же возмущеніе противъ „шигалевщины во времени", которое видѣли раньше у Бѣлинскаго и у Герцена; и такое отношеніе къ этой шигалевщинѣ является общимъ для всѣхъ „мыслящихъ реалистовъ" шестидесятыхъ годовъ. Совершенно одинаково съ Базаровымъ смотритъ на этотъ вопросъ его сотоварищъ и одновременникъ Череванинъ, изъ романа «Молотовъ» Помяловскаго (1861 г.), только Череванинъ стоитъ немного ближе къ нигилизму, чѣмъ Базаровъ. Его «кладбищенство» есть безнадежный и безконечный пессимизмъ (который, къ слову сказать, вовсе не составлялъ главной стороны нигилизма; напротивъ того); кладбищенство это—полное отсутствіе не только положительнаго, но и отрицательнаго, полное безразличіе, «нравственная торичелліева пустота». Кладбищенство составляетъ какъ бы переходную ступень отъ мыслящихъ реалистовъ къ нигилистамъ; и вотъ представитель его, Череванинъ, уже съ большей дозой эгоизма, чѣмъ Базаровъ, почти дословно повторяетъ его мысль: «о комъ же заботиться; для кого хлопотать? Ужъ не для будущаго ли поколѣнія трудиться?.. Вотъ еще діалектическій фокусъ, пунктъ помѣшательства, благодушная дичь! Часто отъ лучшихъ людей слышишь, что они работаютъ для будущаго,—вотъ стран-

ность-то! Вѣдь, насъ тогда не будетъ?» («Молотовъ», стр. 189). Все это—знакомые мотивы; не то ли же самое немного другими словами сказалъ Герценъ, негодуя противъ понятія прогресса, какъ цѣли? Мы видѣли, какъ онъ возмущался фарисейскимъ утѣшеніемъ, что мы работаемъ для грядущихъ поколѣній: онъ не хотѣлъ быть кирпичемъ хрустальнаго дворца будущаго, бурлакомъ, тянущимъ барку прогресса. Онъ хотѣлъ жизни на свой пай и за свой счетъ; Базаровы и Череванины, почти буквально повторяя его слова, высказали этимъ и свой индивидуализмъ, родственный герценовскому.

III.

Не будемъ останавливаться на Лопуховыхъ и Кирсановыхъ, этихъ величайшихъ «идеалистахъ», считающихъ общій идеалъ такъ же невозможнымъ, какъ общія очки; этихъ «эгоистовъ», самоотверженно жертвующихъ собою и утверждающихъ, что жертва—это сапоги въ смятку: мы уже видѣли, какъ запуталъ этотъ клубокъ противорѣчій Писаревъ, быть можетъ, являющійся наиболѣе типичнымъ мыслящимъ реалистомъ своего времени; однако, Писаревъ никогда не былъ послѣдователемъ «писаревщины», хотя и былъ ея невольнымъ родоначальникомъ. Путеводная нить, данная имъ въ руки мыслящихъ реалистовъ, привела ихъ къ самому безбрежному нигилизму, на этотъ разъ вполнѣ заслуживающему такого имени. Нигилисты пришли на смѣну мыслящему реализму и опошлили, загрязнили тѣ истины и положенія, до которыхъ съ такой тяжкой внутренней работой дошли реалисты. Превосходно вскрываетъ эту разницу между реализмомъ и нигилизмомъ одинъ изъ представителей перваго и непримиримый врагъ второго—Михайловскій, переработавшій въ себѣ въ

эпоху своей юности всѣ тяжелые вопросы реализма и вышедшій въ семидесятыхъ годахъ на новую, самостоятельную дорогу. Реализмъ, говоритъ онъ—и мы уже приводили эти слова—клалъ въ свое основаніе рядъ «низкихъ истинъ», формулируя ихъ иногда преднамѣренно грубо; это было реакціей „возвышающему обману" идеализма тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Такъ, напримѣръ, въ вопросѣ о личности идеализмъ требовалъ жертвы: „отцы наши много, слишкомъ много толковали о величіи и необходимости жертвъ, о жертвахъ Богу, отечеству, народу, любящему человѣку и проч., и проч.; это были лживыя рѣчи, насъ возвышающій обманъ", въ противовѣсъ которому реалисты выдвинули насмѣшливую формулу—„жертва есть сапоги въ смятку": это была „низкая истина", но, конечно, далеко не вся истина. Реалисты считали эгоизмъ основаніемъ морали, а потому и жертву считали фикціей; но „мы упускали изъ виду,—продолжаетъ Михайловскій,—что, во-первыхъ, расширеніе личнаго *я* до степени самоотверженія, до возможности переживать чужую жизнь столь же реально, какъ и самый грубый эгоизмъ; и что, во-вторыхъ, формула: жертва есть сапоги въ смятку, не покрываетъ нашего психическаго содержанія, ибо болѣе, чѣмъ когда-нибудь, мы были готовы приносить всевозможныя жертвы". Въ этомъ расхожденіи теоріи съ практикой и заключалась вся трагедія мыслящаго реализма, заключившаго свое міровоззрѣніе въ формулахъ, которыя были уже его самого. Любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ; жертва есть сапоги въ смятку; нравственно все, что естественно; человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ; наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ; законы исторіи непреоборимы — вотъ рядъ такихъ узкихъ формулъ, въ которыя реалисты тщетно старались заключить свое міровоззрѣніе: оно было

шире этихъ формулъ, а такая двойственность приводила реалистовъ къ борьбѣ, къ страданіямъ, къ нравственной ломкѣ. Они много перестрадали и этимъ искупили свою односторонность.

Но вотъ на смѣну мыслящимъ реалистамъ, людямъ безусловно широкимъ по своимъ стремленіямъ, пришли эпигоны шестидесятыхъ годовъ, нигилисты. Оговариваемся, что Михайловскій не употребляетъ этихъ терминовъ, но это не мѣняетъ смысла его дальнѣйшей тирады, которую мы просимъ позволенія привести цѣликомъ. Итакъ, «пришли люди, не мучившіеся надъ выработкой (грубыхъ формулъ), не знающіе ихъ цѣны, не имѣющіе той внутренней гарантіи, которая не допускала бы практическаго паденія, несмотря на односторонность теоретическихъ положеній. Пришли эти люди и подобрали наши краткія и ясныя формулы и пустили ихъ въ оборотъ... Боже, что они изъ нихъ сдѣлали! Пришли люди и сказали: мы люди трезвые, плюемъ на всякій идеализмъ, держимся строгихъ предписаній науки и реальной философіи. Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма нравственно то, что естественно, то мы, повинуясь естественной борьбѣ за существованіе, признаемъ нравственнымъ давить слабыхъ и неприспособленныхъ. Мы — реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма жертва есть сапоги въ смятку, то мы живемъ единственно ради своей собственной утробы... Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма наука должна служить практикѣ и сама по себѣ цѣны не имѣетъ, то мы пускаемъ ее въ ходъ для обдѣлыванія своихъ практическихъ дѣлишекъ... И т. д., и т. д., и т. д. Словомъ, пришлые люди, подобравъ наши краткія и ясныя формулы, уединивъ ихъ отъ процесса ихъ выработки, навѣсили на нихъ всевозможныя грязныя поползновенія, всяческую низость... И эти пришлые люди лягаютъ

еще вдобавокъ время отъ времени тѣхъ, кто оставилъ имъ въ наслѣдство краткія и ясныя формулы! Впрочемъ, въ тысячу разъ горше слышать, когда они пятнаютъ ихъ своимъ почтеніемъ»... (Собр. сочин., IV, 38—41).

Это великолѣпно и глубоко вѣрно сказано; ярче и вѣрнѣе нельзя было оттѣнить разницу между мыслящими реалистами и нигилистами. Въ вышеуказанномъ пониманіи нигилизмъ есть отрицаніе всякихъ цѣнностей, и объективныхъ, и субъективныхъ; поэтому нигилизмъ является не индивидуализмомъ, а очевиднымъ радикальнымъ мѣщанствомъ, исключающимъ нигилистовъ изъ группы интеллигенціи. Изъ личности нигилисты сдѣлали себѣ фетиша, но личность для нихъ имѣла значеніе только узкаго, эгоистическаго «я». Изъ одностороннихъ и только условно вѣрныхъ формулъ реализма они выкроили себѣ узкое, мѣщанское міровоззрѣніе, не скрашенное тайными, скрытыми идеалами, какъ это было у реалистовъ. Отъ идеализма черезъ реализмъ русская мысль перешла къ идолопоклонству передъ мертвыми и узкими формулами: этимъ и закончились шестидесятые годы. Нигилизмъ былъ reductio ad absurdum всѣхъ крайностей ультра-индивидуализма Писарева и «Русскаго Слова»; дойдя до конца этого тупика, пришлось вернуться назадъ, чтобы выйти на новую, болѣе вѣрную дорогу. Ее указали критическіе народники въ семидесятыхъ годахъ, главнымъ образомъ Михайловскій, такъ рѣзко возставшій противъ нигилизма; еще раньше возсталъ противъ нихъ Герценъ, чуткій индивидуализмъ котораго не могъ вынести радикальнаго нигилистическаго мѣщанства. Съ этимъ поколѣніемъ нигилистовъ онъ близко познакомился послѣ 1864 года въ Женевѣ и достаточно ясно оцѣнилъ всю ихъ узость, все ихъ мѣ-

щанство: недаромъ онъ въ одномъ мѣстѣ мѣтко называетъ ихъ «Собакевичами нигилизма».

IV.

Нигилизмомъ закончились шестидесятые годы; познакомившись съ нимъ, мы можемъ теперь подвести итоги. Заключительные выводы могутъ быть отмѣчены въ немногихъ словахъ. Мы видѣли, прежде всего, что стихійный потокъ шестидесятыхъ годовъ смылъ систему оффиціальнаго мѣщанства, а съ нею вмѣстѣ и державшееся за нее мѣщанство этическое. Въ русскую жизнь «разночинецъ пришелъ», и русская интеллигенція, сдѣлавшись окончательно внѣсословной и внѣклассовой, продолжала борьбу за интересы человѣческой личности подъ знаменемъ соціализма, водруженнымъ еще Бѣлинскимъ и Герценомъ, но твердо укрѣпленнымъ въ русской почвѣ только Чернышевскимъ.

Міровоззрѣнія Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева рельефнѣе всего характеризуютъ собою эпоху шестидесятыхъ годовъ и яснѣе всего вскрываютъ коренную ошибку этой эпохи. *Непримиримое противорѣчіе между соціологическимъ индивидуализмомъ и этическимъ анти-индивидуализмомъ—центральная ошибка міровоззрѣній эпохи шестидесятыхъ годовъ*, ошибка, усугублявшаяся еще болѣе намѣренно подчеркнутымъ эстетическимъ анти-индивидуализмомъ (особенно у Писарева).

Это противорѣчіе, встрѣчавшееся ранѣе у Пушкина, Лермонтова и Бѣлинскаго, можно назвать своего рода «парадоксомъ эпохи шестидесятыхъ годовъ». Утверждать, подобно Писареву, что дальше самодѣльности человѣческой личности еще ничего не видно въ процессѣ историческаго развитія, или, подобно Чернышевскому, что выше человѣческой лич-

ности нѣтъ на земномъ шарѣ ничего, и въ то же время подчинять эту человѣческую личность и самодѣльность человѣка принципу пользы,—это значило высказывать тотъ самый парадоксъ, который послужилъ ферментомъ разложенія міровоззрѣнію шестидесятыхъ годовъ; разложеніе это мы видѣли въ писаревщинѣ, въ нигилизмѣ. Семидесятымъ годамъ предстояло вскрыть ошибку этого парадокса и развить до высочайшей степени принципы и этическаго, и соціологическаго индивидуализма; исполненіе этой задачи выпало на долю Михайловскаго, Толстого и Достоевскаго, въ произведеніяхъ которыхъ русская общественная мысль достигла апогея развитія въ XIX вѣкѣ и наибольшей широты и глубины проникновенія принципами индивидуализма, соціологическаго и этическаго.

Мы должны помнить, однако, что семидесятники строились уже не въ пустынѣ, а потому и избѣжали той напрасной траты силъ, тѣхъ блужданій и скитаній, которыя были удѣломъ поколѣнія шестидесятыхъ годовъ и которыя привели это поколѣніе къ идейному банкротству въ писаревщинѣ; семидесятники имѣли передъ собой міровоззрѣнія такихъ титановъ русской общественной мысли, какими были Герценъ и Чернышевскій, и имъ оставалось только (но какъ трудно было это «только»!) выбросить изъ этихъ міровоззрѣній погубившіе ихъ элементы, а изъ оставшихся кирпичей выстроить новое, гармоничное міровоззрѣніе, по плану, намѣченному уже и Герценомъ, и Чернышевскимъ. Новые кадры интеллигенціи, необходимые для осуществленія этой работы, были образованы еще въ шестидесятыхъ годахъ и главнымъ образомъ Писаревымъ.

Отмѣтимъ здѣсь, что Писаревъ можетъ быть названъ Карамзинымъ эпохи шестидесятыхъ годовъ, аналогія между ними полная по ихъ значенію въ

исторіи русской интеллигенціи: оба они знаменуютъ собою шагъ назадъ въ развитіи русской общественной мысли, одинъ—по сравненію съ Радищевымъ, другой—по сравненію съ Чернышевскимъ; оба они сыграли выдающуюся роль въ дѣлѣ созданія новыхъ кадровъ русской интеллигенціи. Мы увидимъ, какъ писаревская теорія «кружковщины» привела, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, къ призыву Лаврова о самоорганизаціи интеллигенціи.

Заканчивая этимъ наше знакомство съ эпохой шестидесятыхъ годовъ, мы хотимъ теперь подчеркнуть еще разъ, что центральной фигурой этой эпохи является, конечно, Чернышевскій, этотъ отецъ русскаго соціализма, этотъ дѣйствительно «великій русскій ученый» (слова Маркса). Добролюбовъ и Писаревъ по сравненію съ нимъ отходятъ на второй планъ; ихъ вліяніе на современную имъ интеллигенцію было громадно, свое значеніе оно сохранило и до настоящаго дня (вѣдь, всѣ мы прошли черезъ Писарева и черезъ Добролюбова), но нельзя и сравнивать ихъ значенія со значеніемъ Чернышевскаго въ исторіи развитія міровоззрѣній, въ исторіи развитія русской творческой мысли. Одинъ Чернышевскій—это цѣлая эпоха, и именно эпоха шестидесятыхъ годовъ.



Оглавление.

Цѣна 4 руб.